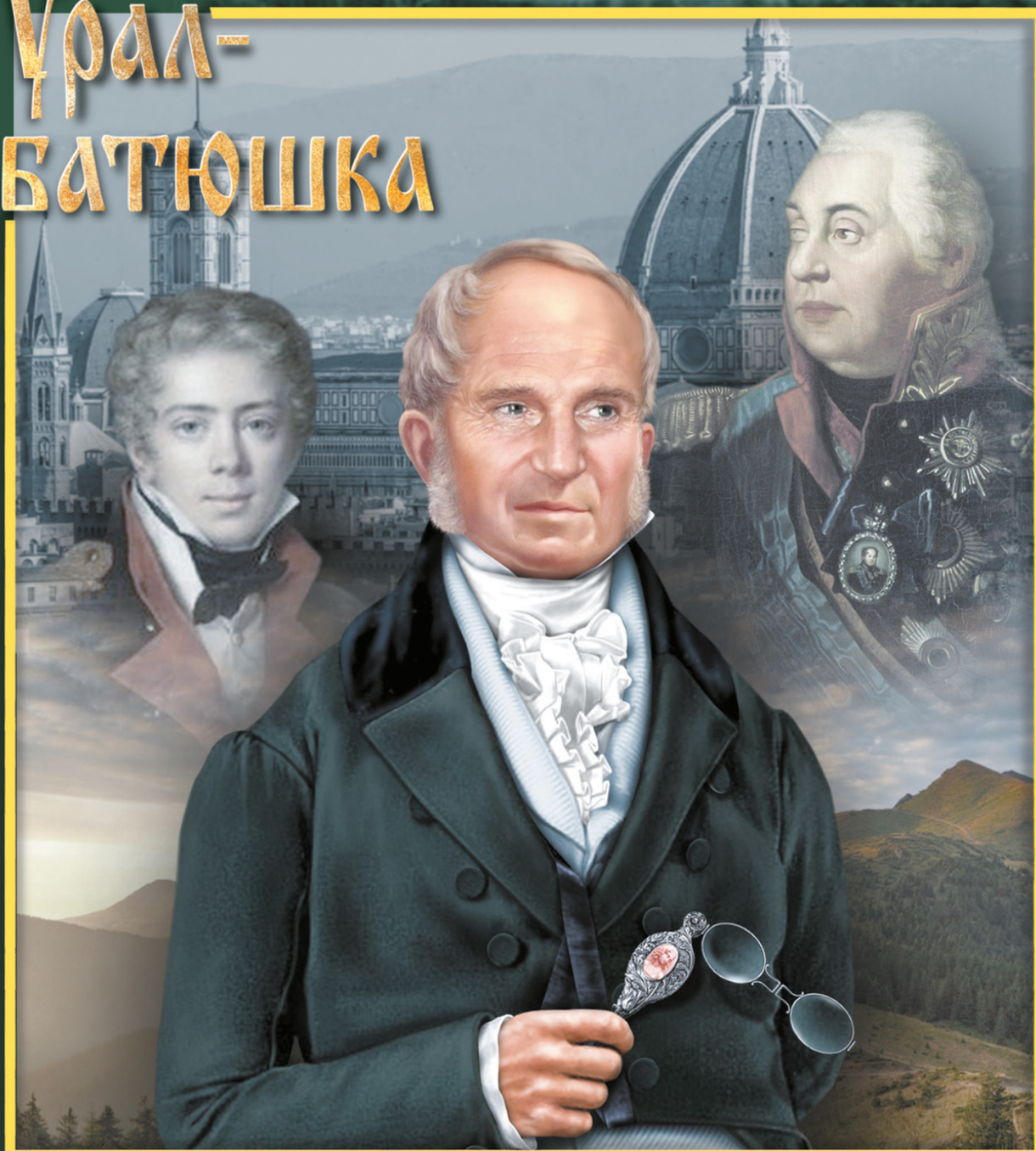


ЕВГЕНИЙ ФЕДОРОВ

Урал-
Батюшка



Каменный Пояс
Хозяин каменных гор

Урал-батюшка

Евгений Федоров

**Каменный Пояс. Книга 3.
Хозяин каменных гор. Том 2**

«ВЕЧЕ»

1951

Федоров Е. А.

Каменный Пояс. Книга 3. Хозяин каменных гор. Том 2 /
Е. А. Федоров — «ВЕЧЕ», 1951 — (Урал-батюшка)

ISBN 978-5-4484-7581-8

«Каменный Пояс» – эпическое полотно, охватывающее период русской действительности от конца XVII века до 70-х годов XIX века. И хотя стержнем повествования служит история рода уральских горнозаводчиков Демидовых – от сметливого кузнеца Никиты, зачинателя «дела», до немощного, развращенного роскошью Анатолия, князя Сан-Донато, завершившего родословную, – главным героем трилогии является талантливый, трудолюбивый русский народ, терпеливый и мятежный. Автор создал целую галерею запоминающихся образов мастеровых людей, зримо предстают и Демидовы, жестокие, властолюбивые, гордые своей силой и властью над человеком. Книга заканчивает трилогию «Каменный пояс».

ISBN 978-5-4484-7581-8

© Федоров Е. А., 1951

© ВЕЧЕ, 1951

Содержание

Часть третья	6
Глава первая	6
Глава вторая	31
Глава третья	41
Глава четвертая	53
Конец ознакомительного фрагмента.	63

Евгений Александрович Федоров
Каменный Пояс
Книга 3
Хозяин каменных гор
Том 2

© Федоров Е.А., наследники, 2018

© ООО «Издательство «Вече», 2018

© ООО «Издательство «Вече», электронная версия, 2018

Сайт издательства www.veche.ru

* * *

Часть третья

Глава первая

1

В Нижнем Тагиле отстроился кабак, лавки, магазины. Демидовская контора в долг отпускала работным мясо, хлеб, крупу, деготь, рукавицы, грубую ткань. При выдаче заработка управитель удерживал долги.

В субботу к заводской конторе сошлись работные, женки их, и Любимов вел с ними расчет. Спесивый, тяжелой походкой вошел он в расчетную, взобрался на табурет и зажег лампаду перед потемневшей и облупившейся от времени иконой Спаса Нерукотворного. Поддерживаемый под руки повытчиками, он слез, опустился на колени перед образом и с умилением стал молиться.

– Господи, пошли меж нами мир и согласие! Иисусе Христе, подай нам!

Позади толпились чающие расплаты: истомленные бородатые работные и женки с испитыми лицами. Управитель обернулся и строго прикрикнул на них:

– Становитесь, христиане, Господу Богу помолимся и приступим к святой получке!

Все покорно стали в ряд и молились вместе с управителем. Вперив большие, навывкате глаза в тусклый лик Спаса, Любимов со слезой молил:

– И прости прегрешения наши вольные и невольные...

Помолившись, он утер вспотевший лоб и неторопливо сел за конторку:

– Ну, подходи, народ крещеный, получай за труды праведные пятаки, алтыны да копеечки! Эй, Сидор, бери свое! Рукавицы брал? Хлеб получал? Постное масло выдавали? Два рубля должен! Так, так! Ишь ты, ни полушки не приходится. Не обессудь, брат, можешь идти! Степан, где ты? – обратился он к рудокопу. – Подходи сюда! Э, ты, братец, рукавицы брал, гляди и полушубок спогadaлся прихватить. Так, так... Ха-ха, тебе, братец, приходится целковый! Ишь ты, целковый! – усмехнулся в бороду управитель.

– Помилуй, Александр Акинфиевич, да я полушубка вовсе не брал! – взмолился Степан.

– Как не брал? – багровея, вскрикнул Любимов. – А это что? Книга живота и смерти! – Он сердито застучал костяшками пальцев по толстой шнуровой книге. – В ней записано: брал Степан Андронов полушубок, а раз записано, выходит так, а не иначе. Уходи, уходи, братец! Не брал? Ишь ты! Знаю я вас. Получил рубль-целковый, ну и ступай с богом! Захарка, ты тут? Подходи!

К заводской конторке подошел весь перемазанный рудой, с тяжелыми корявыми руками коногон. Управитель внимательно посмотрел на его обветренное лицо.

– Это ты, Захарка? В кабаке три штофа зелена вина брал? Брал! Скажываю с тебя...

– Александр Акинфиевич, да побойся ты Бога. В кабаке я и не был, не до того: семье еле-еле на хлеб хватает...

– Не перебивай, суетная душа. Я-то Бога боюсь и чту! Что у меня, креста на шее нет? Зря в грех вводишь! – гневно закричал Любимов. – Повытчик, погляди, что тут записано?

Конторщик сломя голову бросился на зов управителя и изумленно заглянул в книгу.

– Верно! Так и записано: за коногоном Захаркой три штофа! – угодливо подтвердил он.

– Ну вот видишь! – удовлетворенно вздохнул Любимов и насупился. – Проваливай, червивая душа! Андрейка, сюда!

Подошел коренастый мужичонка-рудокопщик со взъерошенной бородой. Глаза управителя смеялись.

– Ты гляди, сколько заработал. Три рубля приходится, а ну-ка вихрь тебя заberi, получай рубль. Все равно пропьешь. Давай не давай тебе, одинаков будешь! На что тебе три целковых? Непременно сопьешься. Нет, я не такой человек, чтобы не порадеть о твоей душе, два рубля отложим на черный день... Получил? Ну, иди, иди с богом, нечего болтаться перед глазами.

– Родной мой, да за что обидел? – не отступал от конторки рудокопщик. – Отдай мне мое, женке с ребятами надо!

– Ну вот еще чего вздумал! – ухмыльнулся управитель. – Авось твоя женка и ребятенки с голоду не подохнут. Господь Бог не оставит их своей милостью. Иди! Эй ты, Иван! – крикнул он повытчику. – Налей-ка Андрейке «петушок» водки, пусть помнит доброго хозяина. Ну, иди, иди, алчные глаза, там и опрокинешь стакашек зелена вина...

В час-два разобрался Александр Акинфиевич со всеми работными и, закрыв железный сундук, снова стал перед образом и помолился:

– Благодарю Тебя, Господи, что не оставил без милости Твоей. Хлеб наш насущный даждь нам днесь...

Сотворив молитву, он надел шляпу и ушел из конторы вполне удовлетворенный собой.

Управитель старался не замечать недовольства рабочих.

«Что ж, – рассуждал он, – человек вечно недоволен. Дай много, захочет большего! Жаден! Вот и смирил на малом!»

Он упорно соблюдал строгости на заводе. Правда, держался он всегда ласково, лъстиво, не грубил, но и приветливое слово в его устах звучало предостерегающе.

– Распусти вожжи, тогда, как обезумевшие кони, разнесут! – говорил он повытчикам. – Народ любит, чтобы его в узде держали.

Но как ни старался Любимов уйти от неприятностей, они следом за ним ходили. После того как триста жалобщиков из Нижнего Тагила добились относительной свободы – стали государственными крестьянами, на заводе участились попытки «отыскания вольности».

Среди тагильских крепостных значился Климентий Константинович Ушков, весьма зажиточный человек, на заводе он сам не работал, а платил Демидову оброк. Вся конница, которая возила руду от горы Высокой, принадлежала Ушкову, и волей-неволей с ним приходилось считаться. Второй из той же породы – Ведерников. Договорились они вдвоем подать прошение на высочайшее имя о восстановлении их в свободном состоянии. Оба считали, что Демидовы незаконно зачислили их в крепостные.

По санному пути в феврале 1812 года верные ушковские люди повезли эту челобитную в Санкт-Петербург.

Вспылил Демидов. Ушкову и Ведерникову грозила барская расправа. Но в эту пору в стране произошли грозные события: в июне 1812 года французская армия перешла пограничную реку Неман и вторглась в пределы России...

2

В августе 1812 года Николай Никитич вызвал Черепанова в Москву. Ефим впервые попал в Белокаменную. Подъезжая к ней, он долго любовался сверканием на утреннем солнышке золотых глав церквей и колоколен. Москва пробуждалась от сна, умытая холодной росой, свежая, просторная. У плотинного учащенно забилося сердце. Он снял шапку, слез с тележки и пошел рядом с возком, разглядывая Кремль, соборы и дворцы. Сверкала зеленая черепица, глазури, позолота – все играло, переливалось на фоне голубого ясного неба. Тихо падали первые желтые листья на бульварах. В распахнутых дверях встречных часовенок трепетно мелькали огоньки свечей, и ранние богомолцы – старушки и нищие – толпились на паперти. Вправо

мелькнула Москва-река, над гладью вод высились зубчатые высокие стены с башнями, высоко вознесшими свои зеленые конусные шапки. Сиреневая дымка таяла под солнцем, которое поднялось над Красной площадью. Каждый камень, каждый шаг по древней русской земле волновал душу Черепанова.

«Москва, Москва – сердце России, надежда наша!» – с благоговением думал он.

На улицах и площадях отмечалось большое движение. По рассказам, Белокаменная славилась широкой, раздольной жизнью, – ничто здесь не возмущало покоя людей, но сейчас Ефим подметил другое: тревогу и беспокойство на лицах встречаемых. На перекрестках толпились купцы, мещане, бабы и слушали чтеца, который оглашал им что-то с бумажного лоскута. Такие же толпы он увидел и у кулачной избы, и у блинной – и там читались листки.

– Эй, ваше степенство, что это объявляют? – окликнул он купца.

Дородный, бородатый гильдеец махнул рукой:

– Иди-ка, братец, сам послушай! То ростопчинские афиши оглашают!

Ефим пробрался поближе к толпе. Стоя на поленице, чей-то дворовый, бойкий грамотей, отчетливо читал листок. Слова у него выговаривались крепкие, ядреные, словно каменные катыши.

«Братцы, вооружайтесь чем попало! – оповещала афиша. – Особенно вилами, которые против французов тем более способны, что они не тяжелее снопа!»

Черепанов не шелохнулся. Каждое слово оповещения жгло ему грудь.

«Неужто в Москву заявятся неприятели? Ядер и пушек у нас, что ли, нехватка, что за вилы берутся!» – в раздумье разглядывал он чтеца. Грамотей был в сером кафтане, стрижен под кружок, глаза жгучие.

– Как тараканов поморим! – бойко выкрикнул лохматый мужичонка и весело оглянулся на Ефима. – Видал, что деется?

Одет он был скудно: зипунишка латаный, сапожонки стоптаны. Несмотря на эту нищету, держался бойко, с задором. Вскинув рыженькую бородавку, он крикнул:

– А ну, читай дальше!

Ефим выбрался из толпы, сел в тележку и неторопливо покатылся дальше, к Басманным, где разместилось демидовское поместье. Навстречу ему потянулся поезд из многих подвод, груженных тяжелыми коваными сундуками. Кладь оберегали усатые солдаты при двух сержантах. «Казну, знать, вывозят!» – подумал Черепанов, и внимание его привлекли шедшие в рядах, в серых суконных кафтанах и с крестами на шапках, бородатые ополченцы. Они, не унывая, горланили песню:

Мы за Рассю-мать пойдем,
Бонапартию побьем,
Бонапартию побьем
И привольно заживем!

Уралец снял перед ними шапку и безмолвно проехал мимо. «Помоги вам бог!» – мысленно пожелал он удачи ратникам. К полудню он въехал во двор хозяина. Среди дворни шла суэта: укладывали в ящики демидовское добро, заколачивали их пахучим тесом. За экипажным сараем кучера рыли глубокую яму, в которую собирались спрятать от врага ценности.

Старик дворецкий опечаленно сказал Ефиму:

– Эх, милый, дожили мы до ненастных дней. Идет гроза с громом и молоньей. Как и устоим?

– Надо устоять! – твердо ответил тагильский мастерко. – Мы, русские, дедушка, не такие напасти видели и перенесли! Как дубы, выстоим!

– Вот спасибочко за утеху! – Дворецкий снизил голос и сокрушенно поделился: – Золото и камни самоцветы из матушки-Москвы повезли. Вот и мы со скарбом наутро из дома тронемся. Кто знает, доведется ли когда-нибудь увидеть родные стены Белокаменной?

Старик невольно смахнул слезу.

– Николай Никитич давно поджидает тебя. Иди! – заторопил он вдруг уральца.

Ефим сдал коня и тележку конюхам, умылся, выбил от пыли кафтан и направился в господские покои. Демидов был неузнаваем: одетый в щегольской военный мундир, он словно помолодел, вырос, движения его стали энергичнее. Встретив недоуменный взгляд Ефима, хозяин горделиво сказал:

– Выставляю свой ополченский полк! Коштовато обойдется, но надо отечество оборонять! Видно, придется нам, Ефим Алексеич, хлебнуть горя! – Он встал и, звякая шпорами, прошелся по комнате. Ровным, спокойным голосом он продолжал: – Выпала нам и печаль и радость. Враг идет сюда, может, и на Тулу повернет – то великая скорбь: надо спасти наши заводы. И вот Господу угодно стало, чтобы в эти дни пребывающая во Флоренции супруга наша Елизавета Александровна родила нам второго сына, которого мы нарекли Анатолием. Это безмерная радость нам!

Тагилец неловко поклонился:

– Поздравляю вас с наследником, господин!

– Спасибо! – весело отозвался Демидов. – А вызвал я тебя, Ефим Алексеич, для Тулы. Великий знаток ты машин и заводов, наказываю тебе ехать туда и вывезти наше оружейное дело! Пока же день-два тут пособи: враг близок, а мне надо ратников вести из Москвы. Я тут отлучусь на чуток, а ты обожди меня. Понял?

– Ясно, господин. Постараюсь.

– Ну, ступай и делай свое, коли ясно! – Он слегка наклонил голову и погрузился в свои думы.

Вечером за окном послышался глухой стук конских подков о настил двора – Демидов на вороном иноходце отбыл по своему делу. Никто из дворни не знал, куда со своими ополченцами направится барин.

В сумерки со двора следом потянулся обоз с домашней кладью. В старом обширном доме с гулками залами остались дворецкий и несколько престарелых слуг.

Спустилась мягкая тихая ночь. Дворовые не расходились и, сидя на крылечке, обсуждали вести с Бородинского поля. Никто из них все еще не верил, что французы осмелятся войти в Москву. Черепанов забрался в горенку и распахнул окно. Город притих во тьме, отошел ко сну. На западе, над Поклонной горой, краснело зарево, – горели бивуачные огни, и это наполняло душу тревогой. Долго не мог уснуть Ефим, ворочался, прислушивался к осторожному говорку дворовых.

– Минутка для отчизны тяжелая, а только не для всякого, – жаловался молодой голос дворового. – Кому горе, а купцам – прибыли море!

– Ты, парень, не ропщи! – строго перебил старый дворецкий. – Так самим Богом положено, чтобы купец обирал. На то он и аршинник!

– Вестимо, обирали, а ноне просто разбойники! Где это видано на беде народной жиреть? Ранее в лавках купеческих сабля и шпага продавались по шести рублей, а то и дешевле, а сейчас за них по тридцать и сорок целковых ломают. Тульские пистолеты с хозяйских заводов коштовали семь-восемь рублей пара, а теперь не получить и за тридцать. Бессовестные, грабят народ в этакое-то время!

– Глаза у иродов бесстыжие, салом заплыли! – сердито вымолвил дворецкий. – Великое испытание идет на русскую землю, а что творят!

– Да и господа помещики не лучше аршинников, в нашем брате мужике только одну подлость видят! – с возмущением продолжал молодой дворовый. – Намедни крепостной человек

барина Бельского явился в присутствие для ратников и просил записать его в ополчение. Что думаешь, как рассудил начальник? «Ты, – говорит, – подлого состояния раб и не можешь иметь благородное патриотическое чувство!» После того он был отослан за «побег» к городничему для расправы.

– Скажи как! – с горечью выкрикнул старик и замолчал.

Тишина длилась долго. Черепанова стал обуревать сон. И вдруг снова заговорил молодой:

– А как думаешь, батюшка, после войны крестьяне волю получают?

– Типун тебе на язык. Молчи! – глухо перебил дворецкий. – За бунтовские речи не сносить тебе башки, Сашка! Видел я своими очами, как на Болоте Пугачу голову рубили. Страшенно!.. Молод да зелен ты! – упрекнул старик. – Эх, господи, какая темная туча ползет на Русь, а народу надо выстоять...

Послышались чьи-то шаги, и дворовые замолчали. Наступил глухой невозмутимый покой, и Ефим устало смежил глаза...

Проснулся мастерко от резких петушиных криков, будивших Москву. Он с наслаждением прислушался к мощным звукам, от которых, казалось, дрожала каждая частица воздуха. Когда в демидовском птичнике на секунду замолкали горластые запевалы, волна петушиного ликования катилась все дальше и дальше, до самых отдаленных застав, постепенно замирая, а затем, снова вспыхивая, возвращалась назад, нарастая и звеня серебристыми всплесками, залетающими в горницу. Это обычное петушиное пение вносило покой, напоминая о хорошей, устоявшейся мирной жизни. Большая тягота слетела с души. Ефим встрепенулся, приободрился.

Он проворно оделся и, чтобы понапрасну не будить дворню, тихохонько ушел со двора. Перед отъездом в Тулу он хотел осмотреть город.

Только что взошло солнце, на травах блестела крупная холодная роса, под ногами шуршал первый палый лист, а в городе сыла тревожная жуткая тишина. Ефим вышел из дому на ранней заре и долго стоял у Драгомиловской заставы. Мимо двигались обозы, артиллерия, потянулась пехота. Солдаты шагали молчаливо, угрюмо. На улицах и площадях толпился народ. Жители безмолвно смотрели на полки. Лишь изредка раздавался женский плач или с обидой брошенный выкрик:

– Это что же, братцы, не отразили врага!

Мучительная боль звучала в этих словах. Солдаты проходили опустив головы: им самим нелегко было покидать Москву.

Черепанов скинул шапку, взволнованно глядел на обветренные солдатские лица, а по щекам катились слезы. Мастеровой мужичонка в серой сермяжке, обиженно моргая глазами, взглянул на Ефима:

– Горе-то какое! Гляди, и тебя слеза прошибла...

Войска проходили, город пустел, и на сердце становилось невыносимо тяжело. Уходило все лучшее, радостное, и гнетущая тишина томила, как перед страшной грозой.

В часу в восьмом у заставы показалась группа всадников. Впереди на карем коне ехал спокойный величавый старик в линиялом мундире и в бескозырке с красным околышем.

– Глядите, батюшка Михаил Илларионович Кутузов! – пронеслось по толпе.

Мастеровой мужичонка скинул шапку, слезы набежали ему на глаза.

– Оставляем Москву! – с дрожью в голосе выкрикнул он. – Так неужто француз всю Расею прошагает! Эх-х! – укоряюще взмахнул он рукой.

Фельдмаршал встрепенулся, поднял глаза на мастерового. Лицо Кутузова было строго. Окинув взглядом толпившийся народ, он сказал крепким, молодым голосом:

– Не будет этого! Головой ручаюсь, что неприятель погибнет в Москве!

Позванивая удилами, конь медленно прошел мимо. Люди волной всколыхнулись следом. Михаил Илларионович оглянулся, народ затих, понял, что любопытство не к месту.

– Кто из вас хорошо знает Москву? – спросил Кутузов.

Мастеровой оказался рядом.

– Куда, батюшка, прикажешь провести? – с готовностью осведомился он, и глаза его с мольбой уставились на главнокомандующего.

Ефим протиснулся поближе и взволнованно разглядывал фельдмаршала. На круглом загорелом лице его играл старческий румянец. Один глаз был полузакрит, другой приветливо рассматривал мужичонку. Движения Кутузова и выражение его лица выдавали страшную усталость. И она была не столько физическая, сколько душевная. Уралец понял, чутьем догадался, как трудно сейчас полководцу. Может быть, ему всех больше покидать Москву? Ефиму глубокой русской жалостью стало жаль Кутузова. Скажи Ефиму сейчас: бросайся в огонь, – и Черепанов, не раздумывая, бросился бы. Огромное, чистое чувство любви к отчизне сроднило полководца с народом. Каждой кровинкой Ефим ощущал эту близость. Он не мог устоять перед соблазном и, рядом с мужичонкой, пустился впереди Кутузова.

Они провели его по бульварам и пустынным улицам до Яузского моста. Кругом все было на запоре, глухо, нигде ни души. Ефим поглядывал на фельдмаршала, который, задумчиво опустив голову, ехал вперед свиты.

У Яузского моста – крикливая, многоголосая людская запруда: полки перемешались с обозами, с экипажами, с толпами уходящих из Москвы жителей. Теснота, окрики, брань не остановили мужичонку. Он прикрикнул:

– Разойдись! Не видишь кто!

Народ потеснился, в сторону сдвинули обозы, и среди людского потока Кутузов проехал дальше. Давно не нужен был проводник, но он и Черепанов все еще шли за фельдмаршалом до Коломенской заставы. На всем пути с каждым шагом возрастало оживление; жители покидали родные дома: шли пешком, вывозили скарб, плакали женщины и дети. Москва на глазах пустела. Неподалеку от заставы к главнокомандующему подъехал граф Ростопчин – все знали его. Он что-то говорил Кутузову, но тот молча продолжал движение вперед. У заставы, близ старообрядческого кладбища, Михаил Илларионович сошел с лошади и уселся в дрожки, повернутые к Москве.

Мужичонка схватил Ефима за руку, крепко пожал:

– Гляди, братец, вот он какой!

Между тем Кутузов не торопился уезжать. Притихший, задумчивый, он долго пристально смотрел на покидаемую Москву. На ярком солнце блестели маковки соборов, от заставы доходил глухой шум, похожий на рокот моря. В клубах пыли двигались толпы народа, обозы и стройно, молчаливо проходили последние полки. Никто не знал, как тяжело было в эти минуты на душе полководца. Он вспоминал военный совет, который вчера вечером состоялся в Филях. Сколь разнообразные мнения высказывали старшие командиры! Особенно высокопарно говорил Беннигсен, который настаивал во что бы то ни стало дать решающее сражение под Москвой. Опустив седую голову, полузакрыв глаза, Михаил Илларионович молча слушал бесстрастную речь барона и горячие споры, которые вспыхнули после нее. В них звучала и горечь, и боль, и дерзость. Перед этим Кутузов тщательно изучал кроки, на которых было нанесено предполагаемое поле битвы под Москвой. Позиции выбирали барон Беннигсен и полковник Толь. Михаил Илларионович ясно представил себе, какие события могут разыгаться в этих местах и как гибельно они отразятся на ходе всей военной кампании.

«Нет, это не Бородинское поле! – с горечью думал он сейчас. – Здесь нет места и глубины для маневрирования резервами. Всякий маневр из глубины позиции резко ограничен и стеснен на правом фланге, а с тыла крутым обрывом и рекой Москвой».

Выступая с речью, барон Беннигсен изредка поглядывал на главнокомандующего, и тот казался ему немощным стариком.

Однако барон жестоко ошибался: Кутузов думал о будущем стратегическом маневре, но твердо решил молчать о нем. Когда все выговорились, Михаил Илларионович встал во весь рост, подошел к столу, за которым разместились генералы, и сказал решительно:

– С потерю Москвы не потеряна еще Россия. Первой обязанностью ставлю себе сохранить армию, сблизиться с теми войсками, которые идут к ней на подкрепление, и самым уступлением Москвы приготовить неизбежную гибель неприятелю. Знаю, ответственность падет на меня; но жертвую собою для спасения отечества. Приказываю отступать!

...Сейчас, сидя в дрожжах, он с грустью сердечной смотрел на сияющий великий русский город и шептал:

«Москва! Москва! Любовь к тебе не угаснет никогда. Армия и народ вызволят тебя! Прости нам недолгую разлуку!» – Он вскинул голову, снял бескозырку с красным околышем, истово перекрестился.

– Выстоим, матушка, и тебя выручим! – сказал он громко и приказал везти себя дальше.

Ефим переглянулся с мастеровым:

– Ну, брат, мне надо обратно!

– И мне! Видать, другого пути нет! – отозвался мужичонка. – Наказано господами беречь их дома. Вертаться надо, а поверишь ли, кипит все тут! Не стерплю злодеев на родной земле! Эвон, гляди, сколько горя разлилось! Идут, все идут, кажись, и конца не будет! В своих слезах захлебнутся бабы! Вон ребятенки! Эх, горькие вы мои, горькие!..

По дороге все двигались, торопились согбенные старики, женщины с узлами на плечах; ухватившись за их подолы, семенили ребятишки...

Черепанов вернулся в город. Расставаясь с мужичонкой, он спросил:

– Как звать, друг?

– Никита Ворчунок! – простодушно отозвался тот. – Доброго здравия, – поклонился он и зашагал прочь.

В городе все лавки и магазины были заперты на тяжелые железные запоры, многие наглухо заколочены; дома опустели, безмолвны. Гулко отдавался каждый шаг. В эту пору обычно в Москве благовестили к обедне, но сегодня ни один звук не пронесся в ясном небе. Тяжелое, гнетущее безмолвие повисло над древним русским городом. Отяжелевшей походкой Ефим приближался к дому, а беспокойная мысль сверлила мозг: «Что же делать? Уходить из Москвы? Но сказано: ждать хозяина... Да теперь разве появится Николай Никитич, раз так обернулось дело?» Он порывался уйти, но чувство долга удерживало его. С волнением он вошел в демидовский двор. Половина дворни ушла, остались ветхие старики. Все умолкли, с беспокойством прислушиваясь к затихшей Москве.

В это самое утро 14 сентября Наполеон подъехал к Москве. В сопровождении блестящей свиты он остановился на Поклонной горе. Отсюда открывался сказочный вид на русскую столицу. Наполеон долго восхищенными глазами разглядывал сияющие золотые маковки церквей, кремлевские башни, раскинувшийся перед ним огромный красочный город, озаренный солнечным сиянием. Молодые офицеры наполеоновской свиты не смогли сдержать своего восторга. Они захлопали в ладоши и, задыхаясь от радости, закричали: «Москва! Москва!»

Наполеон самодовольно улыбнулся. Наконец-то у его ног лежала поверженная древняя русская столица! Взор его перебежал на большую дорогу, подле которой расположились войска. Старые ветераны его походов оживленно жестикулировали, лица их преобразились. Многие обнимались, и отовсюду доносились возбужденные голоса:

– Вот и Москва! Наконец-то Москва!

«Однако почему русские не торопятся встретить меня?» – обеспокоенно подумал Наполеон, и скрытая тревога закралась в его душу. Только сейчас он обратил внимание на тишину и безмолвие, которые не предвещали ничего хорошего. Не слышалось обычного городского шума, ни одной струйки дыма не поднималось из многочисленных труб. Казалось, какой-то

волшебник в одно мгновение усыпил этот великий город, поразили его немой и неподвижностью. Перед Наполеоном лежал безмолвный призрак пустыни.

Резким движением Наполеон забросил за спину руки и нервно заходил по возвышенности. Он привык к установленному ритуалу. Еще в Средние века, когда победитель занимал город или крепость, навстречу ему выходили самые уважаемые жители и почтительно вручали ключи от городских ворот. Наполеон покорил половину Европы, и везде строго соблюдали эту традицию. Ему нравилась эта пышная церемония, когда обычно выходили седобородые старики в дорожных одеждах, неся на серебряном блюде огромные ржавые ключи, которые по сути дела давно хранились только как реликвия. Почтенные делегаты города становились на колени и униженно подносили ключи – символ безоговорочной сдачи на милость победителя.

Волнение с каждой минутой все более и более овладевало Наполеоном. «Почему не идут с поклоном и ключами от ворот Москвы русские бояре?» – Он сердито крутил в руке перчатки и думал: «Я вырву им седые бороды за эту бестактность!»

Увы, бояре перевелись на Руси! Да и никто не собирался к нему с поклоном. Прождав более часа, Наполеон понял, что никакой депутаций из Москвы не будет. Чувствуя, что дальнейшее промедление его на Поклонной горе вызовет недоумение в свите, он махнул рукой:

– Вперед, в Москву!..

Вражеские полки вступили в опустевшую столицу...

В эту минуту тяжелого ожидания беды в калитку демидовского поместья вбежал старый дворецкий; лицо его побледнело, на глазах туманились слезы. Задышавшись от быстрого бега, он сообщил:

– Идут, идут, батюшка Ефим Алексеевич! Саранчой ползут. Тьма-тьмушая, все улицы и проулки забиты французами. Как бы, на грех, сюда к нам вскорости не пожаловали!

Нежданно-негаданно беда настигла тагильца. Черепанов потемнел, бросился в конюшню. Дворецкий выбежал за ним следом.

– Теперь уж не уедешь, родимый! – сказал он с печалью и посоветовал: – Кидай коня и тележку, пробирайся пехом! В суматохе да в толчее, может, и проскочишь к заставе, а там, даст бог, добрые люди выведут из беды!

Не раздумывая, Ефим поспешил со двора, переулками и глухими задворками заторопился к заставе.

На Калужской дороге было пустынно. Город онемел, из ворот на звук шагов выглядывали немощные старики караульщики. Все лавки, герберги, фряжские погреба, харчевни и кабаки закрыты. У покинутого дома, надрывая людям душу, скулила собака. В одном месте слышались разноголосый шум и бранные выкрики, Черепанов еле успел спрятаться за палисадом. Французские солдаты грабили винный погреб: выбивали днища из бочек и черпали хмельное ведрами, тащили штофами и тут же пили. Многие, обнявшись, горланили, пели визгливые песни, а другие бросились в соседние дома и стали ломать мебель, бить окна и грабить все, что попадало под руку.

Вдруг раздался пронзительный крик, от которого по спине Ефима пробежал мороз. Французские мародеры вытолкали из соседнего дома молодую женщину и девочку лет двенадцати. Они изорвали на женщине платье и с насмешками толкали ее на лужайку. Синеглазая девочка упиралась, ее пинками заставляли идти. Тут же под общий солдатский гогот они, как звери, накинулись на беззащитных.

Черепанов дрожал от возмущения: вся кровь в нем ходила ходуном.

«Эх, господи, чему быть, того не миновать, а семи смертям не бывать!» – В страшном озлоблении он вырвал из забора добрый смолистый кол и, выскочив внезапно из своей засады, нанес сокрушительный удар по первой подвернувшейся вражьей башке. Откуда только и сила взялась! Разъяренный и сильный, он бесстрашно шел на врагов, круша их направо и налево.

– Держись, супостат! – выкрикнул он и в неистовстве мести хряснул красномордого насильника по голове так, что тот, не охнув, распластался на земле.

Пьяные грабители что-то заорали в ужасе и бросились врассыпную. Только двое, размахивая палашами, что-то кричали, видимо призывая на помощь. Пользуясь замешательством, женщина схватила девочку и незаметно укрылась среди строений. Не дремал и Ефим, он легко и проворно перекинул свое сильное тело через глухой забор и очутился среди зарослей малиника. Под ногами шуршал палый лист, над головой синело ясное небо, и все так не походило на свершившееся, что Черепанову казалось: он видит дурной сон. Но явь напоминала о себе на каждом шагу: то здесь, то там раздавались дикие крики, загрохотали пушки. «Неужто по мирным людям палят злодеи?» – с возмущением подумал уралец и осторожно стал пробираться к реке Москве. Он думал перейти ее вброд и скрыться в лабиринте кривых улочек Замоскворечья.

«Эх ты, горе-то какое! Не чаял, не гадал – попал в самую кипень!» – подумал он и замер: на ясной лазури неба появились черные витки густого дыма, – захватчики подожгли Москву. «Не успели войти, а уж губят нашу матушку!» – с ненавистью вымолвил он и еще крепче сжал смолистый кол.

Вот рядом, рукой подать, большое белокаменное здание Воспитательного дома, который строил Прокофий Акинфиевич Демидов. Черепанов хорошо знал это величественное здание. «Что же с сиротами теперь?» – в тревоге подумал он. И, словно в ответ на его думку, вдруг раздался громкий и смелый окрик:

– Куда бежишь, добрый человек? Помоги нам!

Перед Черепановым стоял солидный пожилой человек в форменном платье. Заметив удивленный взгляд Ефима, он сказал:

– Я Тутолмин, главный надзиратель Воспитательного дома. Каждый русский человек нам дорог. Французские поджигатели рвутся предать пламени сие сиротское убежище!

Он заторопился по садовой дорожке к главному фасаду, откуда раздавались крики. Толпы разбушевавшихся мародеров поджигали величественное строение. Служители Воспитательного дома с пожарными трубами старались погасить поднимавшееся пламя, готовое охватить стены. Черепанов не ждал больше слов. Оттого, что он не один, что рядом свои, русские, он ободрился и почувствовал в себе силы.

Между тем солнце поднялось высоко, оно сверкало на крестах кремлевских соборов, главах церквей, играло переливами на черепичных крышах башен Китай-города. Но постепенно все стало заволакивать дымом.

– Жгут, проклятые! Жгут храмы божи! – закричал седовласый служитель. – Гляди-ка, эвон пламя какое вздымается на Сретенке! – показал он правее Китай-города. – Эй, дьявол, куда лезешь? – крикнул он и бросился на толстого солдата, который с факелом подбирался к сениям.

Потный, перемазанный сажей Черепанов старался изо всех сил. Кругом уже пылали дома, и огонь каждую минуту мог перекинуться на Воспитательный дом. Стоило больших усилий, чтобы погасить очаги пламени, вспыхивавшие все чаще и чаще. Среди суеты Ефим несколько раз встречался с Тутолминым, который с толпой подчиненных появлялся в самых опасных местах и старался то угрозами, то мольбами отогнать поджигателей. Он успевал всюду: и проверить посты, и позаботиться о воде, и заметить вовремя перелетевшую с соседнего пожара искру. Но больше всего Черепанова поразила беззаветность служителей Воспитательного дома, которые готовы были положить свою жизнь: они бросались в огонь; вооруженные одними дубинками, они готовы были вступить в неравный бой с наглым врагом.

– Ты не удивляйся, милый, – разглядывая Ефима добрыми глазами, сказал сухопарый, с нависшими седыми бровями служитель. – Разве можно допустить, чтобы разорили наше гнездо? Тут-ка, почитай, тысячи сирот, а они, разбойники!..

Старик погрозил кулаком:

– У-у! Был бы молодой, я бы показал им!..

Вдруг на набережной стало тихо, пьяные солдаты, беспорядочно шлявшиеся в расстегнутых мундирах, присмирели. Некоторые из них с мешками под мышками и узлами с награбленным добром на плечах затрусили в переулок. Черепанов глянул вперед и увидел медленно приближающуюся группу конников, на головах которых развевались пышные султаны.

– Гляди-ка, братец! – вскричал в изумлении старый служитель. – Никак сам Напальён сюда жалует!

Старик не ошибся в своих догадках. Из ворот вышел Тутолмин и, склонив голову, стал ждать. Был он при шпаге и в мундире.

Блестящая свита поравнялась с воротами Воспитательного дома. В окружении маршалов на тонконогом белом коне ехал Наполеон. Черепанов с любопытством взирает на невиданное зрелище. Наполеон был коренаст, одет в серый мундир, в треуголке, из-под которой выбилась прядь каштановых волос. Рука у него была заложена за борт мундира, лицо бледно, неподвижно, словно маска. Он ехал, зорко поглядывая по сторонам. Заметив Тутолмина, он спросил приближенных:

– Кто это?

От толпы свистских отделился штаб-офицер, но узнавать не пришлось, так как главный надзиратель Воспитательного дома сам поспешно подошел к свите, учтиво поклонился Наполеону и заговорил на отменно чистом французском языке. Наполеон молча выслушал сообщение Тутолмина, пожал плечами.

– Не может этого быть! – воскликнул он. – Мои солдаты не способны на грабежи и поджоги! – Тронул поводьями, и белый конь, осторожно ступая, понес его дальше вдоль набережной.

– Эх, живодер, аль прикидывается, что не видит? – укоризненно покачал головой старый служитель. – Погоди, придет ужотка час, ударит времечко, рассчитаешься за все наши муки! – пригрозил он вслед и, оборотясь к Ефиму, с горькой печалью сказал: – Гляди-ка, пылает наша матушка, а у меня кровью сердце обливается. Москва всем городам город... Это понимать душой надо! От нее началась вся русская земля... Без Москвы как без головы. Попомни мое слово, «отблагодарит» его Русь за нее... Не с таким народом связался...

За кремлевскими соборами погасал закат, когда Черепанов оставил ограду Воспитательного дома и пустился в блуждания: ему хотелось поскорее выбраться из пылающего города, где каждое движение врага терзало его сердце! Выйдя на пустырь, Ефим свернул в сторону, в большой и глухой сад. И только он пробежал сотню шагов, навстречу ему вдруг вышел знакомый мастерко Никита Ворчунок.

– Куда, братец? Стой, стой! – приглушенно окликнул он Черепанова. – Не ходи туда. Сам лезешь в пасть врагам! Идем!

Он строго посмотрел на уральца, с досадой сказал:

– Попали, друг, в беду, как кур в ощи! За мной держись! Господи, пронеси!

Мужичонка с опаской оглядывался по сторонам, прислушивался. На этот раз его глаза не искрились задором. Он озабоченно сказал:

– У меня тут есть потайное местечко, переждем до ночи, а там, даст бог, темью и прошмыгнем.

Бесшумно ступая, Ворчунок провел Черепанова в темный подвал барского дома. Мужичонка оказался здесь своим человеком. В тусклом свете фонаря возилось несколько человек.

Ворчунок прошептал Ефиму:

– Не бойся, то свои, русские люди!

Он усадил тагильца на пустую бочку, а сам присел к огоньку. Томительно медленно потянулось время. Пламя фитиля потрескивало. Люди молча смотрели на огонек, полудремали. Никто не обратил внимания на Черепанова. Безмолвствовал и Ворчунок.

В глубокой тишине в подземелье раз за разом докатились три выстрела. Ефим встревоженно взглянул на мужичонку.

– Пустое! – отмахнулся тот. – Случись настоящее, по земле гром загудит. Видать, наши далеко отошли от Москвы-матушки.

Мастерко не знал, что в эту минуту пролилась первая русская кровь на московской земле. В тот час, когда передовые французские войска вступили в Кремль, они встретили неожиданное сопротивление. Полтысячи патриотов, вооруженные оставленным оружием, заняли Никольские ворота и дороги, ведущие к дворцам и кремлевским соборам, решив не допустить врага до русских святынь. Едва король неаполитанский Мюрат в окружении свиты въехал в Кремль, как один из смельчаков пальнул в него из ружья. Второй немедленно набросился на польского офицера, на месте зарубил его и с криком: «Братцы, бей супостатов!» – врезался в толпу врагов, но пал под ударами. В отместку за товарища прогремел залп. Французы смешались, но Мюрат восстановил среди них порядок, приказал выставить пушку и ударить ядрами. Прогрели орудийные выстрелы, и защитники стали отступать, жестоко отбиваясь. И тут один из храбрецов, невзирая на опасность, с топором в руках кинулся к орудию и одним взмахом раздробил череп французскому офицеру. На смельчака набросились артиллеристы, но он изо всех сил отбивался. Французы все же растерзали его, и только тогда Мюрат с осторожностью выехал на Кремлевскую площадь...

Целый день не прекращался поток французских войск, которые по вступлении в Москву, как ручьи, растекались по многочисленным улицам и переулкам, разбегались по кварталам и приступали к грабежу. Вскоре все было пьяно, начальники и солдаты растеряли свои полки и дебоширили.

В сумерках Ефим с Ворчуном выбрались из подземелья на огороды. Над городом вздымалось багровое зарево.

– А пожар все больше! Французишки зажгли со всех сторон! Что теперь будет? – с болью выкрикнул Черепанов.

– Лиходеи! Жгут, грабят, насильничают! Доберется наш Кутузов до них! За все ответят! – сердито отозвался Ворчунок. – Днем сам видел, как грязные, вшивые французишки грабили Гостинный Двор. Чего, братец, не тащили! Ящики с чаем, бочонки с сахаром катили, с медом, с вином, мешки с изюмом и орехами волокли, сукна, холсты. Да, видать, жадность обуяла их, не поделили, и пошла драка... Эх, злодеи! Эх, разбойники!..

– Да этак весь город спалят!

Ворчунок призадумался, вздохнул:

– Верно, братец. Выпало нам большое народное горе. Но, может, Господь не допустит до того, чтобы всю захватило огнем. Идем, поторопимся, братец! – потащил он за собой тагильца.

Не успели они отойти от укромных мест, как с десятка французов перехватили их. Ефим и не опомнился – ему связали руки и, подталкивая штыками, погнали вперед.

Ночь опустилась на покинутую Москву, а по земле разлились красные разводья пожаров. В багровом озарении озлобленные конвоиры гнали двух русских на допрос. Ворчунок с ненавистью поглядывал на врагов.

– Испугались, варвары! – злился он. Сбив шапку набекрень, русский озорно смеялся в лицо французам: – Что, самым жарко приходится от своего злодейства? погоди, еще жарче станет!

Ефим шел молча; ныли скрученные руки, но еще больше ныло сердце. «Неужели конец? Так больше и не увижу ни Евдокиюшки, ни сына, ни уральский завод? Тяжело! А что я

сделал худого? Шел по родному русскому городу, а враги поймали, повязали, как ночного татя¹, и гонят неизвестно куда!»

Конвоиры привели пленников и загнали в каменный подвал. Высокий тощий француз толкнул Ефима прикладом в спину, и когда тот, спотыкаясь, полетел в полуосвещенный подвал, за ним захлопнулась дубовая окованная дверь, загремел железный запор.

– Ну, вот и прибыли! – с горькой иронией вымолвил Ворчунок. – Хоть бы веревки отпустили, а то руки начисто затекли! Где ты? – обратился он к Черепанову, который, морщась от боли, поднимался с каменного пола.

От мутного огонька навстречу поднялись бородатые люди.

– Эх, горемыки, и как вас угораздило! – с жалостью сказал широкоплечий мужик.

Черепанов растерянно посмотрел на него и, опустив голову, рассказал про свою неудачу.

– Поди разберись теперь! – опечаленно отозвался кто-то у огонька. – Нас за поджоги будут судить, и вас заодно с нами!

– Господи, да какой же я злодей! – с обидой выкрикнул Черепанов.

– А мы злодеи, что ли? Разве мы поджигали Москву? – громко отозвался кто-то у огонька.

Только теперь рассмотрел Ефим, что перед ним сидит поручик с повязанным лбом. Он улыбнулся уральцу и сказал:

– Тут, братец, собрались все честные русские люди. Нет среди нас ни одного прохвоста. А собрала нас вместе горячая любовь к отчизне. Так, что ли, ребята?

– Так. Садись да поговорим напоследок. Гляди, на зорьке подымут и поведут! – сказал бородач.

– Мне не страшна смерть за родную землю! – решительно сказал поручик и, ласково посмотрев на прибывших, предложил: – Что ж, добрые люди, садись к огоньку!

Седой старик потеснился, дал место. Черепанов огляделся; все были свои, русские. Слабый огонек озарял их лица, и ни отчаяния, ни сожаления не прочел на них уралец. Хотя они знали о страшной угрозе, нависшей над ними, никто не падал духом. Старик степенно огладил бороду и, продолжая прерванную беседу, заметил:

– А что, ребятушки, может, это наша последняя ночь; не пришел ли час подумать о содеянных грехах?

– погоди! – перебил его Ворчунок. – Обожди, дед! Не к спеху, да и какие грехи могут быть у бедного человека! Вот бы руки развязать, а то сердце зашлось!

– погоди, дядя, дай помогу! – к мастерку придвинулся худенький голубоглазый мальчик. – Дозволь, я зубами узел!

– Постой, погоди! – удивленно разглядывал его Ворчунок. – Да откуда ты взялся? Видно, Напольён малых ребят боится, коли сюда в темницу бросил.

– Так наши ребята не простые. Знай, сердяга, – это наш, русский отрок! – горделиво сказал старик.

Мальчонка припал зубами к узлу и скоро развязал его.

– Слава тебе господи, перекреститься можно! – вздохнул Ворчунок. – Ну, милоч, давай и тебя ослобоним!

Черепанов облегченно потянулся. Он молчаливо смотрел на огонек и думал свою думу. По всему видно, не выбраться ему из беды. Плотинный присмирел, стиснул зубы.

«Обидно, но старого не вернешь! Вот только бы спокойно встретить страшную минуту!» – подумал он.

Как бы в ответ на его мрачную мысль Ворчунок с удалью сказал:

– Послушай, народ: от смерти никуда не уйдешь, рано или поздно она каждого настигнет! А все же попытка не пытка. Сбежать надо! – решительно предложил он.

¹ Тать – по-старинному – вор.

– Бежать! – надежда горячей волной обдала Ефима. Он вместе с другими склонился к огоньку и стал обсуждать возможности побега...

Ночь проходила быстро. Каждой минутке хотелось крикнуть: «Стой, не торопись! Так хорошо жить!» В оконце, захваченное железной решеткой, заглянул рассвет. Где-то далеко, на пустырях, среди покинутых домов, неожиданно раздалось предрассветное петушиное пение.

– Вот и утро! – со вздохом вымолвил Ворчунок. – А петька-то, видать, от французов хоть день да уберегся! Слышите, как заливается, певун!

Гасли звезды, петушиный крик смолк, и на смену ему загремел тяжелый запор. Медленно распахнулась дверь, и гнусавый голос французского часового выкрикнул:

– Выход! Выход!

Все не спеша поднялись, размялись и попарно в ногу вышли во двор. Робкие солнечные блики заиграли на золотой маковке звонницы Ивана Великого. Старик взглянул на темные контуры строений, на розовеющее небо и проговорил уверенно:

– Здравствуй, матушка Москва! Здравствуй, родимая! Дай нам силы, чтобы честь не уронить! – Он жадно вдохнул свежий воздух. Конвойные плотным кольцом окружили пленников и погнали по сонной улице.

Над тихим городом, озаренным восходящим солнцем, тянулись густые синие дымы пожаров, где-то совсем близко потрескивало сухое дерево.

Ворчунок подбодрил Черепанова:

– Ну, друг, не вешай головы, еще не вся песня спета! Видно, на допрос или на суд поведут. Есть еще у нас выигрыш...

3

Ворчунок угадал. Схваченных русских привели в большой светлый зал; в нем за длинным столом, покрытым зеленым сукном, разместились члены военного суда французской армии.

Пленники вошли молча, с достоинством. Они встали в ряд перед судилищем, охраняемые конвоем.

Председатель суда, генерал Лауэр, низенький толстый француз, с ненавистью посмотрел на русских и что-то прокартавил. К столу немедленно подошел офицер-поляк.

– Шляхта! – выкрикнул Ворчунок. – Аль тебе мало своих холопов, так русской крови захотел!

Офицер схватился за саблю, но под грозным взглядом главного судьи опустил руки и угодливо смотрел в глаза начальству.

– Это переводчик. Держись, ребята! – прошептал поручик.

Лауэр снова что-то прокартавил. Поляк немедленно перевел:

– Вас обвиняют в поджоге! Понимаете?

– Понятно! – глухо за всех отозвался старик.

– А вот доказательства! – показал глазами на стол переводчик.

Там лежали фитили, ракеты, сера, куски фосфора, пакли. Ворчунок поднял пытливые глаза.

– Этими припасами ваши разбойники Москву подожгли. Эх вы, вояки! – сказал он презрительно.

– Мольшать! – багровея, закричал на него Лауэр. – Вот ти!..

Свинцовыми глазами он уставился в поручика и что-то залопотал часто-часто. Русский офицер горделиво поднял голову и в ответ с улыбкой громко заговорил по-французски. Ефим не знал, что отвечает он генералу, но по тому, как все гуще багровело лицо главного судьи и как отвратительно затряслась от гнева его опущенная длинная челюсть, тагилец догадался,

что поручик за живое задел генерала. Глаза Ворчунка заблестели восторгом, он переглянулся с Черепановым, и тот понял его настроение.

Между тем поляк заявил:

– Вы есть главный поджигатель. Это вы делали зажигательный прибор?

Русский офицер спокойно посмотрел на судей и сурово ответил:

– Ни я, ни мои товарищи не поджигали российской столицы. Мы защитники отчизны, и прошу обращаться с нами как с воинами.

– Замольшать! Смотри сюда! – Он глазами показал на куски серы, фосфора и фитили. – Что скажешь в свое оправдание?

Поручик отважно ответил:

– Я стою на своей земле и оправдываться перед вами не намерен. И ложь тоже на себя не приму. Ваши солдаты-мародеры подожгли Москву! Вы потеряли самое главное – солдатскую честь!

Глаза переводчика-шляхтича позеленели, но он с брезгливым видом слушал. Офицер продолжал смело, со страстью:

– Я сам видел, как ваши солдаты зажгли Кудринский вдовый дом, где находились наши раненные русские воины. Их было три тысячи человек, и до семисот их сгорело! Это ли воинская доблесть? Ваш Наполеон не укроется от ответа за эти подлости! – с гневом выкрикнул поручик.

– Мольшать! – стукнул вдруг кулаком по столу француз, обнажая гнилые зубы. Он что-то выкрикнул переводчику. Шляхтич отвернулся от пленника, но тот резко и твердо выговорил:

– За свои преступления вы казните честных русских людей!

Делая вид, что не слышит его, переводчик обратился к седовласому деду:

– Но ведь ты поджигал?

– Татем николи не был, а вот сейчас кабы силы хватило, то всех вас, врагов родной земли, передушил бы и за грех не почел бы, а за доблесть! – строго ответил старик.

Председатель суда свирепо обежал взором пленников. Они стояли, подняв головы, открыто глядя на своих врагов.

Ни один из русских не побледнел. Они казались сплавленными из одного куска металла. Каждый из опрошенных отвечал дерзко, смело.

Взгляд Лауэра остановился на мальчугане. Генерал задал вопрос, и шляхтич угодливо перевел:

– Ведь ты вместе с ними был? Ты можешь остаться живым, если скажешь, кто из них главный поджигатель. Если будешь молчать, то тебя ждет смерть!

Подросток восторженно, глаза его сверкнули. В эту минуту он был особенно прекрасен. С горящим ненавистью взглядом гневно выкрикнул француз:

– Смерти не страшусь! Тут все честные русские люди! Каины, захотели сделать меня подлецом!

Французский генерал густо покраснел, выслушав переводчика.

– От тебя одно требуют: скажи, коханный мой, они тебя учили так дерзко говорить? – с деланной лаской спросил шляхтич.

– Одному меня учили – любить свою землю! Так этому и матушка наставляла!

Ефим залюбовался юнцом. Он выдвинулся вперед и сказал генералу:

– Ну что к мальцу пристали! Ребенок. Лучше меня казните, а его не трожьте. Ему жить надо!

Поляк немедленно перевел слова уральца. Главный судья спросил через шляхтича:

– Кто ты такой, откуда?

– Я демидовский механик. Позавчера только прибыл сюда и не знаю, за что меня схватили.

Судьи переглянулись.

Лауэр поднял перст.

– Демидов! О, слышал Демидов!..

Генерал встал, крикнул конвойным, и те, подталкивая пленников в спины, увели их из зала.

– Приговор сочинят. Заранее, братцы, уже решили! – сказал поручик. – Душа моя радуется за всех, а за Гришеньку особо. Ловко отбрил французишку.

– Инако и быть не могло! – непререкаемо сказал дед. Оборотясь к Черепанову, ободрил его: – Ну что голову повесил? Не мы первые, не мы последние за Русь умирать будем. Таков наш народ: не предаст, не загубит своей души подлой изменой!

Они расселись прямо на полу в пустом, холодном зале, в котором были выбиты стекла. С упругой силой дул ветер и шевелил оборванными обоями. Ефим пожаловался Ворчуноку:

– Родные так и не узнают, что со мной!

– Слов нет, тяжело! Но ты, голубь, крепись! Виду не показывай, что тяжело! И мне, ух, как больно, сердце разрывается, и жить-то хочется, но что ж, – так положено! Верю я, милоч, не повергнут нашу Россию. Изгонит она супостата, зацветет земля, и будут знать русские люди, что в этом цветении и наша доля есть! – Он говорил ласково, задушевно, и Черепанову сильно понравился этот маленький, щуплый, но сильный духом крепостной. С ним и страдать легче!

Вскоре вышел сержант, прокричал конвойным команду, и пленных снова ввели в зал.

Судьи сидели мрачно, как черные нахохлившиеся вороны перед ненастьем. Лауэр брезгливо поджал губы и немерцающим взглядом смотрел на пленников. Переводчик выдвинулся вперед и зачитал приговор.

Десять человек, в том числе Ворчунок, мальчонка и поручик, приговаривались к расстрелу. Ефим Черепанов и старик за недостаточностью улики приговаривались к тюремному заключению. Мастерко приуныл. Грустно взглянул он на товарищей. Ни один из них не склонил головы, не поблел.

– Попрощаться с друзьями можно? – выкрикнул Ворчунок и, не ожидая разрешения, бросился к Ефиму: – Ну, прости, братец, не поминай лихом. Ну-ну, оставь это! – сердито посмотрел он на тагильца, заметив в его глазах блеснувшую слезу.

Председатель суда махнул рукой, это означало: «Вывести осужденных».

4

Пленных снова отвели в подвал. Пахнуло затхлой сыростью. Ворчунок оглядел глухие стены, вздохнул:

– Ну, теперь, братцы, скоро. Прости-прощай все! Поисповедоваться надо во грехах!

– Французы священника не пришлют! – хмуро отозвался поручик.

– А мы и без попа такое дело исполним. Бог поймет и примет наше раскаяние во грехах, потому за народ свой легли! – рассудительно сказал Ворчунок. – Вон дед Герасим пусть поисповедует да отпустит грехи! Дедко, слышишь?

– Слышу, милый! – отозвался старик. – Что верно, то верно, зачем грехи на тот свет тащить.

– Давай исповедуй, вон в уголку, а вы, братцы, подвиньтесь! – предложил мужичонка.

Дед отысповедовал осужденных. Все молчаливо жались в углу. Видя их тяжелое душевное состояние, Ворчунок, преодолевая свою муку, предложил:

– А ну-ка, братцы, развеет тоску – споем песню! Давай назло врагу покажем, что за русский народ!

В глухом подвале раздалась русская песня. У Ворчунока оказался звонкий ласковый голос. Склонив голову на ладонь, чуть прижмурив глаза, он заводил запев широко и раздольно:

Ах ты, ноченька, ночка темная,
Ты темная, ночка осенняя!..

Быстрокрылой птицей взвился тонкий, серебристый голос мальчугана.
Глаза его расширились, заблестели. Он склонился к деду и понес песню вдохновенно:

Нет ни батюшки, ни матушки,
Нет ни батюшки, ни матушки,
Ты детинушка-сиротинушка,
Бесприютная твоя головушка...

Жалоба и скорбь слышались в этой песне. Ефим привалился спиной к стене и подхватил песню. Казалось, что сюда, в мрачное подземелье, вошло зеленое поле, шумливый лес, засветило солнце, – пахнуло родной сторонешкой.

– Эх ты, мать Расея, русская земля! – выкрикнул Ворчунок, скинув шапку. – Братцы, давай плясовую! – Он вскочил, затопал ногами, замахал руками и медленно-медленно поплыл по кругу. – Веселей, родные! Эй, жги-говори! – закричал он, встрепенулся и, весь сияя, учащенно затопал ногами...

Вступил в пляску и поручик и мальчонка, даже старый дед не утерпел, – и его захватила удаль. Сидя на соломе, он задвигал плечами и в такт плясу захлопал в ладоши.

В самый разгар разудалого русского размаха дубовая дверь распахнулась, и на пороге встали конвоиры.

– Прощайте, братцы, – со вздохом сказал Ворчунок. – Отплясали свое! – Он стал со всеми прощаться, волнуясь.

Ефим трижды поцеловался с каждым. Ему хотелось навзрыд заплакать, но, собрав все силы, он крепко обнимал уходящих и напутствовал:

– Жив буду, донесу память о вас, други!

Мальчонка прижался к его груди, хмыкнул носом и горько пожаловался:

– Батюшка, батюшка, не могу...

– Крепись, братцы! – сурово сказал уралец. – Не дайте радости врагам!

Юнец встрепенулся, утер слезу и стал рядом с поручиком в первой паре.

– Пошли, братцы! – позвал Ворчунок. – Пройдемся еще разик по родной земле! – Он независимо вскинул голову и со жгучей ненавистью сказал французам: – Веди, ироды!

Спустилась ночь. Лунный свет пробивался в пыльное окно, на светлой серебристой дорожке темнела измятая шапка Ворчунка. Чудилось, вот он рядом здесь сидит и прислушивается, как вливается в подземелье зеленый поток.

Склонив голову на согнутые колени, пленники дремали, Черепанов же не мог уснуть: из головы не выходили Ворчунок, мальчуган, поручик, все други-товарищи.

«Русь, могуча и велика ты! Необозримы просторы твои! – с душевной теплотой думал Ефим. – Но величавее всего, красивее и сильнее всего духом – самоотверженный русский человек! Через все беды проходит он, не склоняя головы перед врагом и лихим злосчастьем! Верен и предан он своей земле до гробовой доски!»

5

Прошли ночь и день, и снова в решетке окна засинел вечер. Заключенным не принесли ни пищи, ни воды: французам было не до пленников. Не знали осужденные, что страшный огненный вихрь бушевал над Белокаменной, пожирая строения, храмы, богатства, – прекрасный и величественный русский город. В эти часы Москва стала местом позорных злодейств француз-

ской армии. Среди пламени и стонов иноземцы совершали разбои, душегубство и поругание всего святого, что было в русской жизни. Враги не щадили ни пола, ни возраста, ни девичьей чистоты, ни народных святынь. Французские генералы состязались в грабеже с простыми солдатами-мародерами. До осужденных ли было в эти часы наполеоновским насильникам?

В эту темную ночь крепкий рыжий бородач сказал Ефиму:

– Чего нам ждать? Намыслился – самое время бежать!

– Надумал хорошо, но как уйти из подземелья, когда камень кругом? – возразил мастерко.

– Камень крепок, а руки и воля наши крепче! – уверенно ответил дядька. – Ковач я, и силы во мне много. Рой подкоп! – Он первый руками стал рыть у стены рыхлую землю.

Ефим не верил своим глазам: мягкая, сырая земля рылась спорко. Он опустился рядом на колени и попробовал кирпич. Слежавшаяся, прозеленевшая кладка с трудом, но разбиралась.

– Братцы, вот где спасение! – обрадовался уралец, и все вчетвером стали трудиться у подкопа...

Глухой ночью выбрались в тенистый темный сад. Сверкали звезды, шуршал палый лист, и так глубоко и хорошо дышалось!

– Господи, неужто воля? – полной грудью вздохнул старик. – Осторожней, братцы, по одному уходи!..

Не видно было златоглавого прекрасного города, он скрылся в сизом горьком дыму, который клубился над развалинами. Среди дыма потрескивало старое сухое дерево строений, раздавались одиночные выстрелы. Ефим прислушался к звукам и тихо побрел в синюю едкую мглу.

Он шел задыхаясь, а кругом бушевал огонь, раздавались стоны, ржали кони – неистовствовал враг. Мастерко осторожно ступал на обгоревшие бревна, обходил черные скрюченные трупы. Местами они лежали горами, – истерзанные тела русских людей.

«Оскорблены и замучены! Ух-х!» – сжав кулаки, опаленный душевной мукой, весь дрожал от гнева Черепанов. Вот лежит с проломленным черепом мать, прижимая к сердцу загубленное дитя. Неподалеку, раскинув руки и уткнувшись в золу лицом, распластался седовласый дед. Сколько замученных, опозоренных, ограбленных русских людей! Глаза Ефима все время застилались слезами, не от едкого дыма, не от горечи пожарищ, а от большой невыносимой тоски, от ненависти к врагу за содеянное. И эта ненависть гнала его вперед, обостряла его слух, зрение, делала его хитрым, лукавым.

«К своим! К своим!» – подбадривал он себя, удесятерая силы. Под утро он переплыл дымившуюся осенним туманом Москву-реку и вышел на зеленое поле. Мокрый, голодный, он упал в старую борозду, тяжело дыша от усталости, и не мог надышаться запахом своей земли. Он взял ее в горсть, мял; так он полнее, сильнее ощущал радость своего освобождения. Вот она, земля, великая русская земля отцов и дедов! Какая великая, несокрушимая сила в ней; напоили ее потом своим русские люди, взлелеяли-вспахали золотые руки родного пахаря. Нет, ни за что на свете не отдаст своей святой земли русский человек, во веки веков!

6

Однако не так-то легко было Черепанову теперь добраться до Тулы. По всем дорогам и проселкам действовали ратники ополчения, а по укромным местам все леса и деревушки полны были партизан. По главным дорогам на Москву со всех сторон: от Твери, Ярославля, Касимова, Рязани и от Тулы и Калуги – отовсюду стягивались части ополчения, охватывая Москву, занятую противником, крепкими клещами. Хотя император Александр I строжайше запретил вооружать простых людей – ремесленников, мещан, мастеровых – огнестрельным оружием, а тем более артиллерией, Кутузов не посчитался с этим. Мало того, он организовал

партизанскую борьбу с оккупантами. Михаил Илларионович прекрасно понимал все значение партизанских отрядов, действия которых входили в его стратегический план. Народные мстители воевали в тылу врага: они нарушали связь противника с его базами, лишали его пополнения людьми, боевыми припасами и продовольствием. Ни один неприятельский солдат или отряд не мог отлучиться от главных сил, чтобы не быть истребленным. В народе кипела люта я ненависть к насильникам. Тем временем ратники ополчения все ближе и ближе стягивались к Москве, не пропуская подозрительных лиц по дорогам. Они проверяли каждого, кто ехал в ставку Кутузова или возвращался оттуда. Так, 24 сентября они арестовали как шпиона самого Клаузевица, хотя у него и оказались все документы в порядке.

В эти дни Кутузов тщательно проверял ряды офицерского состава, среди которого было много иностранцев. В первую очередь он старался избавиться от иноземцев в своем штабе. Полководец давно убедился в бесполезном пребывании Клаузевица в штабе и, воспользовавшись его просьбой отпустить по болезни в Петербург, охотно удовлетворил его желание. Клаузевиц уехал, но не прошло и дня, как ополченцы доставили его арестованным в штаб. Узнав, в чем дело, Кутузов улыбнулся и подумал:

«Чуют сердцем, что не наш человек...»

Через несколько дней Клаузевиц снова выехал в Петербург, на этот раз под охраной русского фельдъегеря.

Ополченцы задержали и Черепанова, который брел по дороге. Они окружили его и допытывались:

– Куда идешь, кто такой?

– Братцы! – обрадовался своим Ефим. – Наконец-то среди русских оказался. Сбег из Москвы. Попалили матушку!

– О том давно известно! Даст бог, батюшка Михайло Ларионович к ответу вскорости хранцузских курошупов стребует! – заметил бородатый ополченец в сермяжном кафтане. – Ты скажи-ка нам, кто таков есть?

– Ефимка Черепанов, крепостной механик господ Демидовых.

– Э, милый, да ты свой брат. Идем-ка с нами полдневать! – пригласили они уральца.

Ефим охотно отправился с ними к поскотине, где над ямой висел большой черный котел, в котором пыхтела горячая каша. Черепанов сразу почувствовал голод. Ему сунули в руки деревянную чашку, и кашевар положил жирной каши.

– Ешь, земляк! – ласково предложил он.

Ефим уселся на траву и стал жадно есть. Кругом него толпились бородатые ополченцы. Все они были одеты в свое крестьянское платье, на ногах – широкие черные сапоги, – в таких удобнее носить суконные теплые онучи. На суконных же фуражках – латунные кресты. У каждого ранец, а в нем рубаха, порты, рукавицы, портянки и всякая хозяйственная мелочь. Вооружены чем попало: и топорами, и пиками, и саблями, – не все имели кремневки.

Над полем стоял разноголосый гул, крепкие, белозубые богатыри шутили, подзадоривали друг друга, подбадривали Черепанова:

– Ты, механик, иди к нам служить! – предлагали они.

– А кто оружие будет робить? – улыбнулся Ефим. – Как без него бить лихощедев? То-то...

– Верно! – согласился рябой ратник. – Вилы да топоры хороши, слов нет, а меч ратный аль ружьишко куда способнее! Работай, друг, доброе оружие!

– А ты в Москве был? – спросил его Черепанов.

– Не довелось бывать, мы дальние – сибирские...

– А как же ты ее крепко любишь? – с лукавинкой полюбопытствовал уралец.

– Эх, дорогой! – вздохнул ратник и отозвался душевно: – Да без Москвы, как без головы... За нее и на черта полезешь! Слышь-ка, как в песне поется:

За тебя до черта рад,
Наша матушка Россия! —

запел он разудалым голосом, и все ратники разом подхватили любимую песню. Веселые, бодрые голоса поплыли над полями и перелесками, и Ефиму стало легко и хорошо на душе.

«Эх, русский человек, милый, хороший человек, какая добрая земля взрастила-взлелеяла тебя! — с умилением подумал он. — Нет мужественнее и честнее тебя! нет у тебя ничего крепче любви к отчизне!»

На лагерь надвигались сумерки, зажглись первые робкие звезды. Бородатый ратник предложил Черепанову:

— Ты, милый, не ходи ночью. Поди-ка в овин отоспись до утра!

Ефим с охотой воспользовался его приглашением. С облегчением он растянулся на хрустящей свежей соломе, еще пахнувшей ржаниной. В прорезь сруба глядела вечерняя звезда, и все здесь напоминало домашний уют и родную деревеньку. Он быстро уснул...

Ранним утром Черепанов продолжил путь. Шел он густыми лесами, наслаждаясь бодрящей прохладой, приглядываясь к осенней красоте леса. В пурпур оделись трепещущие осины, золотились густые кроны берез и тополей. Сердце радовалось яркому солнцу и веселым краскам русской осени. Навстречу часто летели утиные стайки. Вот и река, над ней стелется туман. Ефим подошел к берегу, разулся и вымыл ноги, сразу стало легче. Он загляделся в воду, она была прозрачной, чистой, на дне можно разглядеть мелкую гальку. По течению плыли упавшие листья березы и клена.

Глядя на всю эту лесную красоту, просто не верилось, что сейчас идет жестокая война и Москва сожжена врагом.

«Эх ты, горе какое!» — со вздохом подумал Ефим и склонился над водой, чтобы освежить лицо. Там, в прозрачной глубине, как в зеркале, Черепанов увидел свое отражение. На него смотрело худое обросшее лицо, в волосах серебрилась седина.

Высоко в небе, над лесом, извиваясь, с трубным криком летела лебединая стая.

В ближних кустах затрещало, и сразу, как медведи, на берег вывалились здоровенные мужики в желтых полушубках, с вилами в руках.

— Стой, варнак! — закричал черный, как жук, детина.

— А я и не думаю бежать, — спокойно отозвался Черепанов. — Кто такие, братцы?

— Аль неведомо тебе, какое ноне время и на кого с рогатиной мужики вышли? — сердито ответил мужик. — Айда с нами, пока цел!

— Что ж, можно и с вами, — согласился Ефим. — Уж не партизаны ли вы?

— Угадал! — повеселев, отозвался мужик. — Ну, идем!

Они привели уральца в лесной стан. Перед избушкой лесника на скамье сидел степенный солдат в поношенном мундире и курил трубочку. Завидя захваченного, он прищурил глаза и засмеялся:

— Это вы, ребята, зря! Своего заместо курятника, хранцуза поймали. Кто такой?

Черепанов назвалса, и улыбка прошла по лицу солдата.

— Ружья можешь счинить? — спросил он.

— Попытаюсь.

Три дня пробыл Ефим в партизанском стане, починил кремневки, отковал наконечники для пик. Солдат понимал толк в оружии. Все внимательно оглядел и похвалил Черепанова:

— Золотые руки у тебя, мужик! Иди к нам, теперь вся Русь поднялась на врага!

— Рад бы, да спешу на заводы! — пояснил уралец. — Сказывают, сам Михайло Илларионович написал письмо оружейникам — крепче дело вершить.

— Коли так, пусть будет по-твоему! — согласился солдат. — Только, если надумаешь, — приходи, всегда рады будем! Спроси Четвертакова, каждый укажет!

Ефим радостно смотрел в открытое, мужественное лицо солдата. Он еще дорогой прослышал о его подвигах. Раненный под Смоленском, воин свалился с лошади и был взят в плен, но, едва отдышался, сбежал и укрылся в деревушке. Там он старался поднять крестьян, но те побоялись идти с ним. Тогда Четвертаков подговорил одного охотника и вместе с ним в поле подстрелил двух французских гусар. Храбрецы вооружились их пиками, саблями и, оседлав добрых коней, поехали в большое село. Тут к ним присоединились еще сорок мужиков. Вооруженные вилами и топорами, они напали на французский отряд и перебили его. С той поры отряд Четвертакова превратился в грозную силу. Он рос с каждым днем и вооружался, не давая спуска врагам.

– Так неужто ты и есть сам Четвертаков? – не веря своим глазам, спросил Ефим.

– Он самый. Почему не веришь, милый? – добродушно спросил солдат.

– Да как же ты управляешься со своим воинством?

– А таким же манером, как и ты ладишь свои машины и пускаешь их в ход! – весело ответил Четвертаков. – Эх, милый, так говорится: мужик сер, да ум его волк не съел! Погляди-ка на свои руки, все фузеи в порядок привел, а почему мне не справиться с ратниками? Каждому свое дано! – Он пыхнул трубкой, посмотрел на тихое небо и сказал: – Есть и получше меня мстители. Вон Степан Еременко, Ермолай Васильев, а еще самый славный – Герасим Курин. Этот, прямо скажем, партизанский генерал! Слышал такого? Нет? Жаль! А про Василису Кожину тоже не слышал? Опять жаль... Ну, брат, иди в Тулу да получше пищали роби! Эй, ребята, накорми работничка да проводи на верную дорожку! – выкрикнул он и протянул Черепанову руку. – Ну, друг, в добрый час!

Они расстались друзьями. Ефим пробирался по лесной дороге и думал о встрече, и мысли были радостные и светлые.

7

В то самое время, когда Черепанов пробирался в Тулу, Николай Демидов трусливо сбежал из Москвы. Обещанного полка он не выставил. Отсиживался в Калуге и ожидал дальнейших событий. И вдруг словно среди ясного неба грянул гром – его срочно вызвали в ставку к Михаилу Илларионовичу Кутузову.

С тяжелым чувством Демидов ехал в маленькую деревушку Леташевку близ Тарутина, где сейчас находился штаб главнокомандующего русской армией. По проселку, торопя коней, проносились всадники, катились двуколки и шли просто пешие озабоченные люди. Все тянулись к незаметной деревушке, в которой только что устроился Кутузов.

Не знал Демидов, что за этот короткий срок в армии произошли большие изменения. Да и вряд ли кто знал стратегический план войны, кроме самого Кутузова. Он тщательно сохранял в тайне свои замыслы, и это обеспечило ему успех. Русский полководец перехитрил Наполеона. Оставив Москву, русская армия стала отступать по Рязанской дороге. Кутузов убедился, что французы следуют по пятам, и распространил слухи о том, что русские уходят к Рязани, а сам, дойдя до Боровского перевоза, неожиданно повернул к Подольску, а затем всю армию вывел на Калужскую дорогу в районе Красной Пахры.

Этот гениальный маневр был совершен так скрытно, что французы потеряли след русской армии, и Наполеон только через двенадцать дней дознался, где она находится.

Марш Кутузова в корне изменил стратегическую обстановку. Русские войска сейчас прикрывали Тулу с ее оружейными заводами, Брянск и Калугу с большими продовольственными запасами и весь богатый юг России. Наполеон был потрясен, но все еще надеялся на свою счастливую звезду. Он послал к Кутузову парламентаря Лористона. Генерал поехал в ставку главнокомандующего русскими войсками под видом якобы размена пленными, а на самом деле

поговорить о мире. Француз взволнованно пожаловался на партизанскую войну. Он учтиво сказал Кутузову:

– Такой образ войны противен всем военным постановлениям просвещенных наций.

Михаил Илларионович прищурился и подумал про себя: «Ишь, варвары, вдруг о цивилизации вспомнили. Значит, допекло!» Опустив устало голову, он вздохнул и расслабленно промолвил:

– Ваша правда, генерал, но крестьянами, простите, я не командую.

– А казаки, ваши казаки ведь люди военные и тоже никаких правил признавать не хотят! – вскричал Лористон.

Кутузов лукаво взглянул на парламентаря и грустно покачал головой:

– Ох, уж эти казаки, казаки! Я и сам не рад, да что с ними поделаешь? Иррегулярное войско! Ведь они, пожалуй, по-своему расправляются с вашими фуражирами?

– Весьма грубо! – обрадованно отозвался Лористон. – К тому же ни для кого не секрет, что русские сожгли Москву.

Казавшийся старцем, Кутузов вдруг выпрямился, лицо его стало багровым. Еле сдерживая гнев, он сурово ответил Лористону:

– Что касается московского пожара, я стар, опытен, пользуюсь доверенностью русского народа и потому знаю, что каждый день и каждый час происходит в Москве. Известно мне, что вы разрушили столицу по своей методе: определяли для пожара дни и назначали части города, которые надлежало зажигать в известные часы. Я имею подробное известие обо всем. Доказательством, что не жители разрушали Москву, служит то, что вы разбивали пушками дома и другие здания. Мы постараемся вам отплатить!

Французский парламентар побледнел, заикаясь, заговорил о перемирии, но Кутузов повернулся к нему спиной и отрезал:

– Мы только что начинаем воевать, а вы говорите о перемирии!

Так и убрался Лористон восвояси. Его мысленному взору представилась грозная картина: блокированная армия Наполеона в Москве. Он вспомнил восклицание Сепора, который наблюдал московский пожар.

– Ах, боже мой! – признался граф. – Что скажет о нас Европа? Мы становимся армией преступников, которых осудит провидение и весь цивилизованный мир.

16 сентября Кутузов писал императору Александру I об оставлении Москвы и о своих стратегических замыслах. В письме сообщалось, что «вступление в Москву не есть еще покорение России. Напротив того, с армией делаю я движение на Тульской дороге. Сие приведет меня в состояние прикрывать пособия, в обильнейших наших губерниях заготовленные. Всякое другое направление пресекло бы мне оные, равно связь с армиями Тормасова и Чичагова. Хотя не отвергаю того, чтобы занятие столицы не было раною чувствительнейшею, но, не колеблясь между сим происшествием и теми событиями, могущими последовать в пользу нашу с сохранением армии, я принимаю теперь в операцию со всеми силами линию, посредством которой, начиная с дорог Тульской и Калужской, партиями моими буду пересекать всю линию неприятельскую, растянутую от Смоленска до Москвы, и, тем самым отвращая всякое пособие, которое бы неприятельская армия с тылу своего иметь могла, и обратив на себя внимание неприятеля, надеюсь принудить его оставить Москву и переменить всю свою операционную линию. Генералу Винценгероде предписано от меня держаться самому на Тверской дороге, имея между тем по Ярославской казачий полк для охранения жителей от набегов неприятельских партий. Теперь в недалеком расстоянии от Москвы, собрав мои войска, твердо ногою могу ожидать неприятеля, и пока армия Вашего Императорского Величества цела и подвижна известною храбростью и нашим усердием, дотоле еще возвратная потеря Москвы не есть потеря отечества. Впрочем, Ваше Императорское Величество всемилостивейше согласиться изволите, что последствия сии нераздельно связаны с потерей Смоленска».

Рапорт главнокомандующего вызвал у царя негодование: он не сумел понять всю глубину замысла Кутузова. К этому времени в Петербург подоспел донос барона Беннигсена, враждебно настроенного против Михаила Илларионовича. Барон докладывал Александру I о том, что он был против сдачи Москвы неприятелю без боя, и старался представить Кутузова безвольным человеком.

Царь, и без того настроенный против Кутузова, решил, что наступил момент разделаться с ним, и приказал комитету министров расследовать причины сдачи столицы. Император хотел этим самым опозорить Кутузова в глазах общественности и удалить с должности главнокомандующего. Но положение в стране было настолько серьезное, что даже угодливый царю комитет министров, обсудив рапорт Кутузова, не поставил вопроса о смене главнокомандующего. Министры побоялись чем-либо обидеть полководца, но царь все еще не мог успокоиться. Он осыпал Кутузова упреками, а в особом императорском рескрипте позволил себе угрозы по адресу главнокомандующего:

«Вспомните, что вы еще обязаны ответить оскорбленному отечеству в потере Москвы...»

Демидов зорко следил за придворными интригами и думал, что они свалят Кутузова. Он представлял его дряхлым, озлобленным стариком, и, по совести говоря, Николай Никитич сильно побаивался его. Прибыв в Леташевку ранним утром, он хотел спозаранку попасть на прием к главнокомандующему. Заводчик обрядился в пышный военный мундир и поторопился в штаб. В приемной уже поджидал Кутузова разный люд, среди которого было много сермяжников. Барин поморщил нос и тихо спросил адъютанта:

– Столько холопов! Для чего они понадобились его сиятельству?

– Это не холопы! – спокойно ответил молоденький офицер. – Правда, среди них есть и крепостные, но сейчас они выполняют великую роль. Здесь, господин Демидов, уважают партизан! Кроме того, взгляните: вон тот в углу, кучерявый с усищами, в сермяге – дворянин и герой Денис Давыдов!

Не успел Николай Никитич толком разглядеть знаменитого партизана, как того вызвали в кабинет Кутузова. В избе – тонкие дощатые перегородки. Демидов представил себе, каким увальнем в крестьянском армяке ввалился Давыдов в горницу главнокомандующего. Он напряг слух: «Интересно, что на эту вольность скажет князь?»

Раздался громкий голос Кутузова:

– Полноте извиняться! В народной войне это необходимо. Действуй, как ты действуешь, головой и сердцем; мне нужды нет, что одна покрыта шапкой, а не кивером, а другое бьется под армяком, а не под мундиром!

Услышанное потрясло Демидова. «Что за крамольные речи! – с возмущением подумал он. – То ли было при покойном Потемкине!» Он старался еще уловить кое-что, но за перегородкой стало тихо.

Время тянулось томительно. В избе было дымно от махорки, которую, не стесняясь присутствием адъютанта, курили сермяжники и какие-то солдаты. Никто не обращал внимания на пышный мундир Николая Никитича, никому до него не было дела. Все вели себя сдержанно, говорили о пустяках и делах, которые ничего общего не имели с войной. В оконце вонзился золотой луч осеннего солнышка, где-то на дворе горласто прокукарекал петух, на его призыв откликнулся другой. Во всей обстановке штаба не было ничего показного, пышного, величественного, к чему в свое время привык Демидов в потемкинской ставке в Бендерах. «Да, не те времена пошли!» – с грустью подумал он, и в этот миг дверь распахнулась и адъютант пригласил Николая Никитича:

– Господин полковник ополчения, главнокомандующий вас просит.

Демидов с волнением переступил порог горницы. За простым тесовым столом в стареньком мундире сидел Кутузов. Его седые пышные волосы на массивной голове были причесаны слегка к вискам, сам Михаил Илларионович – дорожен, величав.

«Совсем не старик!» – успел только подумать Демидов, когда командующий крепко пожал ему руку. Однако он не предложил ему стула.

Мягкое ласковое лицо Кутузова вдруг стало строгим. Он взглянул на Демидова и спросил:

– Где расквартировали ваш полк? Я что-то не нашел его в планах...

Николай Никитич на мгновение замялся, потупился.

– Я еще не сформировал полка, – волнуясь, признался он.

Лицо полководца помрачнело, он облокотился на стол и из-под ладони хмуро смотрел на заводчика.

– Выходит, пока есть один отменно обряженный полковник. Кстати, откуда сию форму взяли? Перья, ленты, кантики. Вы, батенька, как индейский петух вырядились! – слова Кутузова прозвучали насмешкой. Демидов покраснел и ждал горшего. Однако Михаил Илларионович перестал шутить. Он встал из-за стола, вытянулся во весь рост, плечи его оказались широкими, крепкими, и сам он выглядел осанистым крепышом, хотя был и сед и морщинист. Главнокомандующий выговорил громко и твердо:

– Сударь, вам надлежит выполнить свои обязательства. Оставьте фанфаронство, оно у нас ни к чему! И еще запомните: Тулу мы не отдадим, завод оружейный вывозить не разрешаю. Все, сударь! – Он круто повернулся к Демидову спиной, давая понять, что прием окончен.

Взволнованный, пристыженный заводчик вышел из штаба. Вернувшись на квартиру, он торопливо снял свой пышный мундир, обрядился в дорожное платье и велел закладывать лошадей...

А Кутузов в этот час уселся за стол и стал писать письмо уральским рабочим, прося их ускорить отливку пушек и ядер.

8

Кружным путем, трудными дорогами и тропами, под пронизывающим осенним ветром и косым непрерывным дождем, лесами, оврагами, полями и запутками, усталый, измученный, прибавил в октябре Черепанов в Тулу. Николай Никитич так и не появился на заводе, он отправился в Ярославль, где проводил время за ломберным столом. В городе оружейников царил тревога, чувствовалась близкая гроза. Наполеон прекрасно понимал значение Тулы и после захвата Москвы собирался идти на юг и разорить заводы. Грозная опасность нависла над оружейными заводами. Черепанову стало известно от мастеровых, что царь наказал заводскому начальству «иметь верные сведения о движении неприятеля по направлению к Туле. При достоверном и необходимом уже случае остановить работу, взять мастеровых, инструмент и следовать по тракту к Ижевскому заводу».

Туляки не хотели покидать родных мест, намереваясь встретить врага с оружием в поле. Они день и ночь ковали железо, заваривали стволы, делали ружья, а иные уходили за город и помогали саперам рыть рвы и строить редуты.

Ефим даже заикнуться не решился о вывозе демидовского завода на Урал. Работные люди волновались и знали только одно: отбить врага! К счастью, в эту пору в Тулу прискакал курьер от Кутузова: Михаил Илларионович наказывал не вывозить оружейников и заводы, так как Тула может не опасаться неприятельского вторжения.

В октябре наполеоновская армия покинула Москву и устремилась на юг. Перед уходом французы решили выместить свою злобу на русской столице. Генерал Мортье со своими саперами начал взрывать Кремль и самые лучшие здания, уцелевшие от пожара. 21 октября от громовых взрывов в Кремле задрожала земля. На воздух взлетели арсенал, часть кремлевской стены, Водовзводная, Петровская и частично Никольская и Боровицкая башни, расположенные вдоль Москвы-реки. В соборах и Грановитой палате начались пожары. К счастью, пошел

сильный осенний дождь, фитили отсырели, и оттого многие заложенные мины не взорвались. К этому времени подросли русские патриоты и стали гасить пожары, обезвреживать мины и истреблять последних насильников.

...Стотысячная французская армия двинулась на Калугу, стремясь уйти от генерального сражения, которое готовил ей Кутузов. Однако трудно было перехитрить опытного русского полководца. Он заставил Наполеона принять бой под Малоярославцем. Это была решительная битва, в результате которой Наполеон вынужден был повернуть на старую Смоленскую дорогу и испытать на себе возмездие русского народа.

В ноябре по санному пути Ефим покинул Тулу. Не утерпел он, чтобы не побывать на Орловщине. По степи гуляли метели, когда он добрался до имения Свистунова. Тихо и безлюдно было в поместье. Барский дом и глухой сад потонули под снежными сугробами. Здоровые и крепкие мужики ушли в армию, среди дворни остались старые да малые. В людской Черепанов встретил обросшего сединой дряхлого гайдука в старом изодранном кафтане, от которого узнал, что его бывший барин Свистунов умер, а имение отошло под дворянскую опеку.

– Грабят, кому не лень! – жаловался старик. – Хваткий был барин, доброй души. Погиб зазря. Коней диких, степных калмыки пригнали. Сам выезжать взялся. Разнесли, копытами истоптали, и лика человеческого на нем не осталось.

Ефим с грустью смотрел на запущенные хоромы, на угрюмого слугу. Из оконца виднелись развалившиеся конюшни. Высокие тополя, что росли перед крыльцом, исчезли.

– Мужики посрубили после смерти барина, – пояснил старик и, пригорюнясь, утер слезы. – В то времечко вышло такое еще дело. На третий день после погребения барина на усадьбу цыган с цыганкой наехали, про усопшего расспрашивали. «Опоздали, милые, – говорю, – гвардии поручик Свистунов отошел, а вам приказал долго жить!» Что в диво было: слепая молодая цыганка навзрыд заплакала и все вторила: «Ах, Феденька, милый Феденька, так и не довелось встретиться нам!» Отвел я ее на могилу барина. Пора осенняя, ветер воет, а она села на бугорок, так и не сошла с него до вечера. Ни ветер, ни стужа, ни мокрядь ее не прогнали. Сидела и держала в руке горсточку земли. Растирала комки и горько плакала... А цыган на могилу не пошел, все барскими конями интересовался. Да что кони! – Рассказчик смахнул слезы и уставился на Ефима: – А помнишь, было времечко, эх, и жили мы!

Черепанов промолчал: он хорошо знал, что за жизнь была у Свистунова. Гайдук до дна осушил штоф, потряс его и огорченно покрутил головой:

– Скоро-то как! Эх, не та мера ноне стала, и крепость у вина иная!

Помолчав, он снова заговорил, почему-то вспомнив о цыгане:

– Уехал шароглазый со своей слепой бабой, а через трое ден пару золотистых коней свели. Известно, кто свел! Цыган хоть и жалел покойного, а все же не вытерпел – угнал коней!..

Гнетущее чувство охватило Ефима. Он не остался ночевать в покинутой усадьбе и, дав отдых коням, снова пустился в дорогу. Был ветер, мела пурга, а он бесстрашно держал путь на восток, на далекий Каменный Пояс.

Трудные годы выпали уральским работным. Русской армии понадобились тысячи пушек, десятки тысяч добрых клинков, сабель, шпаг, казачьих шашек, штыков и больше всего ядер. Неустанно работали заводы на Каменном Поясе. Работные выбивались из сил, но заказы для войска выполняли в срок. В эту пору в Нижнем Тагиле появились пленные немецкие мастера и французы. Иноземцы изумлялись: как это так, работные живут в кабале, ходят тощие, обворванные, управитель Любимов жмет чрезмерно, а они добросовестно стараются. Один любопытный немецкий мастер не утерпел и спросил Черепанова:

– Ви, руськи, страни народ. Француз боитесь, оттого так работайте?

Ефим хмуро поглядел на чванливого немца:

– Почто боимся французов? Напальёна нам не надо! У нас своих хапуг да господ сидит на шее до беса. А отечество свое защищать до последнего будем!

Немец пожал плечами.

– Но ви живешь плёхо?

– Хоть и плохо, а отчизна. На родной земле мы сами порядок наведем! Не спросим у чужеземцев!

Под густыми бровями глаза русского механика вспыхнули раскаленными углями. Немец смутился; он вспомнил рассказы о Пугачеве. Здесь, на Урале, еще совсем недавно рабочие безжалостно расправлялись со своими господами и приказчиками. «Кто его знает, этот народ?» – со страхом подумал иноземец и прекратил разговор.

С далекого Урала по рекам плыли караваны, груженные железным литьем: пушками, ядрами, клинками. Зимой по санной дороге скрипели обозы. Русские работные люди вооружали свою армию. Никогда Ефим не работал так яростно, как в эту военную годину.

«Это вам за разоренную Москву, за поруганный русский народ!» – с ненавистью думал он о врагах и еще вдохновеннее трудился.

Оборванные, голодные, разбитые вражеские полчища бежали по разоренной ими же Смоленской дороге. К началу декабря 1812 года русские войска освободили Вильно, Ковно, Россиены и гнали оккупантов дальше.

Михаил Илларионович прибыл в Вильно и на площади осматривал захваченные знамена. Войска, выстроенные на парад, замерли, любуясь бодрым видом своего любимого полководца.

Кутузов приказал склонить наполеоновские знамена перед русскими солдатами.

Это до глубины души потрясло воинов. Ликуя, они всей грудью кричали:

– Ура спасителю России!

Кутузов низко опустил голову, лицо его зарделось, и он сконфуженно, со слезами на глазах, громко выговорил:

– Полноте, друзья, полноте! Не мне эта честь, а славному русскому солдату! – Подбросив папаху, он вострепнулся и закричал зычным молодым голосом: – Ура, ура, ура русскому солдату!

Приняв парад, главнокомандующий написал из Вильно донесение императору:

«Война окончилась за полным истреблением неприятеля».

Это признали и сами насильники. Французский маршал Бертье в декабре доносил Наполеону:

«Я должен доложить Вашему Величеству, что армия совершенно рассеяна и распалась даже ваша гвардия; в ней под ружьем от 400 до 500 человек. Генералы и офицеры потеряли все свое имущество... Дороги покрылись трупами».

Страшные орды иноземных насильников нашли себе могилу на русской земле. Наши славные полки перешли границу, чтобы освободить народы Европы от наполеоновского ига.

Глава вторая

1

Медная руда на реке Тагилке была открыта давным-давно, еще при Акинфий Демидове. Помогли ему сыскать медь охотники-вогулы. Они занимались тормованием: на лодке плыли по тихой реке и били притаившегося на берегу зверя. Кочевники хорошо знали места, где и какой камень лежит. Акинфий наказал приказчикам допытываться у вогулов о рудах. Наемники Демидова не поскупились на посулы. И вот в один из осенних дней с тормования, с реки Выи, явился вогул Яков Савин и рассказал по тайности заводчику, что он знает целую гору из магнитного камня. На другой же день вместе с охотником Акинфий Демидов направился по Тагилке к устью Выи и там увидел широкую гору, поросшую лесом. Опытный взгляд заводчика заметил выходы магнитной руды на поверхность. Ее было столько, что за целые столетия не выбрать, и добыча не представляла трудностей. Залегание руды начиналось сразу, снимай покрывку и бери, сколько хочешь! Это и была гора Высокая. Подле нее расположился вогульский пауль. Кочевники не трогали магнитных руд. Демидов удивился и спросил:

– Из чего вы куετε наконечники стрел? Где добываете металл?

– Идем со мною, хозяин, и ты увидишь, из чего наши добывают металл! – позвал его Савин и повел в пауль.

Там, у горы, Акинфий увидел вогульские кузницы с сыродутными горнами², а плавилась в них не магнитная руда. Это были другие руды, более мягкие, местами красноватые, нередко с прозеленью малахита.

«Медная руда!» – догадался Демидов, забрал образцы и вернулся домой.

Испробовав руду в литье, заводчик окончательно убедился в том, что у реки Выи обнаружены медные залежи. Да и магнитная руда с горы Высокой не обманула ожиданий. Хоть сейчас строй завод! Однако у Демидовых не хватало ни средств, ни рабочих рук, и решили они до поры до времени молчать о своем открытии, а вогулам-охотникам пригрозили:

– Изничтожим, если проболтаетесь и наведете сюда крапивное семя!

Кочевники и сами сильно боялись царских чиновников и поэтому охотно поклялись молчать обо всем.

Шли годы, и Демидовы исподволь, потихоньку готовились к постройке нового огромного завода у подножия горы Высокой. Однако в 1720 году царь Петр издал указ, в котором поощрялась добыча и плавка руд, и в то же время тем, кто утаит открытые рудные места, грозила жестокая кара.

Никита Демидов всполошился и поспешил подать заявку на гору Высокую. Зная крутой нрав царя и боясь его гнева, Демидовы решили раз навсегда спровадить подальше опасного свидетеля Якова Савина.

Вогул охотился в притагильских лесах, когда в пауле появился приказчик Щука со своими головорезами. Он в один миг разорил чум Савина, избил его жену и прогнал ее с детьми за реку.

– Живей убирайтесь, пока целы! – пригрозил он.

Умные охотничьи псы вступились за хозяйку, напали на демидовского приказчика, и тогда разъяренный Щука перестрелял собак.

Когда вогул Яков вернулся в пауль, то не нашел ни жены, ни чума, ни собак. Он бросился с обидой к Демидову:

² Сыродутный горн – плавильная печь для выделки железа (не чугуна) прямо из руды.

– Где такой закон, губить бедного охотника?

Никита глазами показал на жилую плетть:

– Вот тебе закон и правда! Убирайся, а то шкуру спущу!

Разоренный, обиженный, вогул еле унес ноги из Невьянска...

Тем временем Демидов в 1721 году отстроил Выйский медеплавильный завод, а четыре года спустя, незадолго до смерти Никиты, неподалеку возвели на четыре домны чугуноплавильный Нижнетагильский. С той поры у горы Высокой пошла иная жизнь. Гору вскрывали и прямо в отвале брали руду. Кругом под топором лесоруба затрещали вековые леса, закурились дымки в синем небе, – демидовские жигали добывали уголь для прожорливых домен...

Гора Высокая оправдала надежды. Совсем иное получилось с медным рудником: руда в нем вскоре оскудела, и завод стал работать на привозной меди. Думный дьяк де Генин доносил царю Петру Алексеевичу:

«Ныне я был на демидовском медном промысле и усмотрел, что та руда его оболгала: сперва набрали на доброе место, где было руды гнездо богато, а как оную сметану сняли, то явилась сыворотка: руда медная и вместе железо, а железа очень больше, нежели меди».

С тех пор Выйский завод влачил жалкое существование. Но вот в 1814 году, почти столетие спустя, горщик Кузьма Кустов, расчищая на своем огороде колодец, внезапно попал на богатое месторождение медной руды. И залегала она всего в трех верстах от завода. Снова ожил медеплавильный завод. Николай Никитич Демидов старался все выжать из рудника...

На этот рудник и угодил Ефим Черепанов. Двадцать пять лет он проработал плотинным Выйского завода. Помогал ему в хлопотах возмужавший сынок Миронка. Ему только-только миновало двадцать два года, и его поторопились женить, чтобы крепче привязать к семье, да и Евдокия уставать стала, – ушли силы. Сын перенял от отца влечение к механике и теперь с охоткой постигал отцовское искусство.

2

На Выйском заводе все держалось по старинке. Круглые сутки по кругу ходили кони, с помощью привода вращая огромное колесо, которое, в свою очередь, заставляло работать шатуны. По деревянной трубе двигался поршень, он засасывал и выталкивал воду.

Ефима Алексеевича всегда удивляла первобытность и хлопотливость этого способа откачки грунтовых вод. Для обслуживания несложной водоподъемной машины содержался большой табун в двести лошадей, а при них состояло не менее ста сорока погонщиков и конюхов. Кони при напряженной работе быстро выбывали из строя, изнашивались и люди, кляня свою долю.

Несмотря на огромные затраты на содержание машины, она не могла справиться с откачкой подземных вод, которые день и ночь сочились изо всех земных пор и постепенно затапливали шахты. Каждый день только и слышалось, что под землей снова стряслась беда: то рухнула подмытая порода, то крепи не выдержали, то вода прорвалась в штрек.

Рудокопы с большой опаской спускались в шахту.

– Ну, прости-прощай, батюшка плотинный! – кланялись они Черепанову. – Незнамо, увидим ли снова белый свет?

В словах горщиков слышалась тревога. Шахта в самом деле превратилась в мышеловку. Лежа в забое, рудокоп прислушивался к таинственным шорохам, к плеску и бульканью воды, коварно, капля за каплей, точившей породу, к легкому потрескиванию крепей, на которые нажимала страшная тяжесть породы, оседавшей под действием вод. Внезапная беда подкарауливала рудокопа на каждом шагу. В этом подземном аду люди до того издергались, что каждый звук порождал у них страхи, и под влиянием их среди горщиков велись суеверные разговоры о нечистой силе, которая якобы ютится в таких гибельных шахтах. Больше всего запугивал гор-

щиков старый хитроглазый старик Козелок. Он всю жизнь провел под землей, всего навидался и много натерпелся, сам, пожалуй, не верил в свои вымыслы, только посмеивался:

– За что купил, за то и продаю! Сказка не сказка, а быль с небылицей. Сами разбирайтесь, где и что! – отшучивался он, когда к нему приставали работные...

Над горами в эту пору синело небушко, зеленый шум леса веселил душу, – весна украшала землю, горы и воды. Только в подземелье все оставалось по-старому, и даже стало страшнее: прибавились талые воды. В эти светлые погожие денечки так не хотелось забираться в шахту!

Все с большей тревогой спускались горщики в штреки. Тускло светил огонек в шахтерской лампешке, журчала вода, и мрак ложился и давил грузной глыбой на сознание. Нет-нет да и собирались в минутки передышки горщики к стволу подышать свежим воздухом, который струился сверху, с нагретой земли. И казалось, нет ничего слаще и приятнее этих весенних запахов, которые шли сверху, – дышишь и не надышишься.

Щурясь на далекий-предалекий клочок неба, видневшийся над столом, Козелок однажды начал свою бывальщину:

– Иду я, братцы, в прошлую ночь с работы. Темень непроглядная! И на каланче об эту пору раз за разом отбили двенадцать ударов. Полночь, стало быть, настигла. Ох, господи, – думаю, – время-то какое, самое что ни на есть глухое, только и разгуливать всякой нечисти. Лишь подумал я об этом, братцы, свернул за угловую избушку, а меня вдруг кто-то цоп за полу. Я вперед – не пускает. Оглянулся назад и обер. Стоит она позади меня, вся в белом, волосы распущены, а глаза по-кошачьи горят... Как закричу я...

Рассказчик осекся, все повскакали с мест: в эту минуту где-то совсем близко в потемках что-то зашуршало и сильно-сильно захлопало.

– Братцы! – схватил соседа за руку Козелок, а сам побледнел, затрясся, не в силах вымолвить слова. Горщики тоже присмирели и со страхом стали озираться на штольню.

– Ведьма! – крикнул вдруг в страхе старик и кинулся бежать по штреку. Все – кто куда. Один в уступ бросился, другой к подъемнику, третий сидел ни жив ни мертв.

Рудокопы побросали инструменты и поспешили к выходу:

– Спасайся, братцы, в шахте нечистая сила!

В эту пору снова кто-то захлопал крыльями, закричал-загоготал так, что многих мороз продрал по коже. Горщики – поскорее к стволу, а за ними кто-то зашлепал по воде.

Насилу выбрались на-гора, а позади все еще доносился такой гогот, такая возня, что сам Козелок закричал:

– Спасайте!

Выбравшись наверх, он упал перед товарищами на колени:

– Простите меня, окаянного, не ко времени помянул нечистую силу. Вот, ей-ей, лопни мои глаза, сам видел, как она и сейчас белым махала. Забей меня на месте, не спущусь больше в шахту. Это она и водой балует!

– И я не пойду больше, дорогие. Раз нечистая сила завелась, не к добру! – отозвался молоденький рудокоп, который до этого похвалялся своей храбростью.

– И я не спущусь! – закричал третий.

– Кому надоело жить, пусть сам попробует! – поддержал четвертый.

Всем было страшно заглянуть в черный зев шахты, а над горами так блестело-играло солнышко, так дивно распевали птицы и так радостно пестрели цветы в лугах и звенели мошки, так проворно летали над Тагилкой синие стрекозы, что рудник перед всеми этими весенними щедротами и впрямь показался могилой.

Молоденький горщик не утерпел и запел так жалобно, что тронул всех. Он пел о горькой доле демидовских рудокопов:

На-гора весна меня встречает,
Закипает пламенная кровь...
Жить хочу... Но шахта убивает,
Отнимает трезвость и любовь...
На-гора – пахучая прохлада,
Яркий луч природу осветил,
Только мне спускаться в шахту надо, —
От живого к мертвому идти...

Глубокий, приятный голос певца ласкал слух горщиков. Дед Козелок вздохнул.

– Хорошо, парень, про судьбину нашу поешь! – задумчиво похвалил он. – Только не надо больше. И без того сердце от горя заходится...

– Это что ж вы, злыдни, разлеглись на травушке да пятки греете! – раздался за спинами рудокопов злой окрик.

Козелок поднял голову и увидел перед собой приказчика Шептаева. Багровый от гнева, он бросился на старика с правилом:

– Это ты, трухлявый бес, затейщик всему!

– Помилуй бог! – вскочил горщик. – Да разве ж мы самовольщики... Не можем мы там! – кивнул он в сторону шахты.

За Козелком поднялись и другие горщики. Приказчик встревоженно стал всматриваться в хмурые лица работных:

– Да что тут случилось?

Козелок блеснул глазами и поманил приказчика подальше от ствола.

– Ты не кричи громко, – сказал он таинственно. – Не по своей воле мы поднялись на-гора. Нечистая сила выгнала!

– Да ты сдурел! – закричал Шептаев и напустился на старого рудокопа: – Где это видано, чтобы на христианском руднике да нечистая сила? От хмельного померещилось тебе, сивому мерину. Марш-марш в забой!

Но сколько ни кричал, ни бесился приказчик, ни один горщик не тронулся к стволу.

– Сам полезай, а мы пропадать не думаем! – запротестовали рудокопы.

– Ах, так! Погоди, сейчас до господина Любимова доведу! Он покажет вам нечистую силу! – пригрозил Шептаев. – Сами на чертей похожи, а туда же – нечистой силы испугались!

Размахивая полами жалованного кафтана, приказчик устремился в главную контору. Он уже скрылся за Высокой, а горщики все не расходились. Они расселись на траве и снова завели тайные разговоры. Козелок – самый старый и матерый горщик, посмеиваясь в бороду, повел свой сказ:

– Уж это, братцы, испокон веков так заведено: на каждой шахте свой «хозяин» имеется и по-разному его горщики кличут. То давненько случилось, был я еще совсем молоденьким пареньком, – силенки слабенькие, а робил я в ту пору под Тулой, на угле. Вот в нашем руднике и объявился свой «хозяин» – Шубин³. Своенравный старик. То помилует работяг, тогда все в руку идет, дым коромыслом. Наломишь в лаве столько – знай успевай отвозить. То вдруг осердится «хозяин», ну, тогда такие колена пойдет выкидывать, просто убежишь от страха из забоя! И вишь ты, заладил он каждое утро старичком управителем казаться. Придет седенький, сутулый, покашливает, и как только выйдет последняя клеть с народом, он садится в нее и опускается в шахту. На другой день после этого беды жди, – затоплена штольня! А то бывало и так: спустится он в виде невидимки и ну работать: рубит, кряхтит, таскает салазки с углем и

³ Шубин – по суеверным представлениям горщиков старого времени – горный дух.

натаскает всем на радость. Бери, за горщиков сработан! Выходит, в этот день в добром настроении пребывал наш «хозяин».

– Гляди-ка, и у них совесть-то, поди, просыпается! – вставил один из рудокопов.

– А то как же! – охотно согласился Козелок. – Он хоть и нечистая сила, а посовестливее будет нашего Демидова! Так вот слушайте, мои друзья. Как-то раз Шубин пошутил над одним горемыкой. По совести сказать, парень он был молодой, душа нараспашку, но под Рождество так кутнул в кабаке, что все до грошика отдал целовальнику. Что тут делать? Пить-есть надо человеку, да и праздники только что начались. Приходит он к штейгеру и просит:

– Беда стряслась, дорогой. Промотался в кабаке, а опохмелиться не на что! Дай в долг!

Штейгер в насмешку предлагает ему:

– Деньги нужны, так полезай сейчас же в шахту да подай на-гора весь зарубленный уголь.

Вот и прибыль! Наличными получишь!

Шахтер считался не из робких, согласился.

И только клеть опустила его в шахту, как на рудничном дворе увидел он седого старичка. Впрягся тот в салазки и молча таскает уголь. Взглянул он на парня и весело окликнул его:

– Добро пожаловать, молодец! Скучновато было мне, не с кем побаловать...

Горщик ласково посмотрел на старика и подумал:

«Да это, наверное, наш новый штопорной⁴. Приветливый работяга!»

И попросил его:

– Дедушка, я буду тут самосильно робить, а ты не посчитай за труд, наведайся. День ноне какой, – со мной в наказание, может, что и случится!

И давай таскать уголь...

Прошел, может, час-два. Парень натаскал изрядно угля к стволу. Сам вот и грузится, будто кто его плетью гонит! Только нагрузил он первую подачу – слышит, кто-то идет. Не торопится, покашливает старчески на ходу:

– Кхе! Кхе!..

Из потемок выходит старик и по-приятельски спрашивает:

– Ну что, парень, как идет дело? Есть уголек?

И тут только заметил наш горщик, что-то ярко горят глаза у старика. Однако он не испугался и ласково ответил:

– Есть немного!

– Вижу, – ответил тот. – Ну, вот что: ты грузи, а я потихоньку таскать буду на подачу.

– Ладно, дедушка! Спасибо за подмогу! – согласился парень, и пошла, братцы вы мои, работа. Ой и работа! Не успевает шахтер и грузить, а уголек все прибывает. Да крепкий да ядреный, блестит на изломе, как серебришко!

– Давай, давай живей! – покрикивает старик, а парня и пот, и страх пробирает. Ноги и руки дрожат.

Старик это заметил и говорит работяге:

– Ты это зря! Сходи теперь да посмотри, сколько угля в лаве осталось!

Парень полез туда, видит, весь уголь отбит, вся мелочь собрана, будто метлой подмели...

Сколько часов горщик в шахте пробыл, один бог знает, только когда он поднялся наверх, то увидел: весь откаточный углем завален.

Тут-то он и спогался, кто к нему угодил в помощники. Дух захватило у горщика, побежал он к рудничному двору. Там – никого. Еле от страха на-гора выбрался. Сам не свой прибежал в казарму, отовсюду к нему сбежались дружки. Ахнули они:

– Да где ты был, милый человек! Зачем побелил голову?

⁴ Штопорной – рабочий, регулирующий движение клетки по стволу.

И впрямь, парень стал в одночасье седым-седехоньким. Дошел он до нар и упал вниз лицом. Так и проспал целый день, а наутро хватились его. Сбежал! С той поры никто так удалого горщика и не видел на шахте!..

– Ты только послушай, чего старый леший набрехал! – раздался внезапно позади горщиков насмешливый голос управителя Любимова.

Никто и не заметил, как он подобрался к работным.

Все сразу повскакали, но он с льстивой улыбочкой неторопливо присел рядышком.

– Что за беда случилась в шахте? – сдержанно спросил Любимов. – Это все Козелок надумал. Откуда могла нечистая сила там взяться? Погляжу на вас: народ вы храбрый, а пустяка какого испугались!

– То не пустяк, Александр Акинфиевич. Сам слышал и краем глаза приметил, – сурово отозвался Козелок.

– А ты не перебивай меня! – строго остановил его Любимов. – От мысли человеку всякое может померещиться. Да и то надо знать, братцы, что на всякую нечистую силу есть поп с крестом! – убежденно сказал управляющий. – Ныне же приведу священника, и он святой водой окропит шахту, вот вся нечисть и покончится! – Любимов говорил ладно, приветливо, но все время пытливо разглядывал лица работных, а сам думал: «Не может того быть, чтобы нечистая сила их испугала. Тут что-то другое! Вода. Она, коварная!»

Управляющий и сам изрядно переволновался и перетрусил, но не за работных, а за шахту. «Помилуй бог, если медный рудник затопит, что тогда скажет Демидов? Никому несдобровать!»

Он, кряхтя, поднялся, внимательно осмотрел насосную машину. Она работала с большим хрипом. Деревянные дощатые трубы пропускали воду, и половина ее со звоном падала обратно в шахту.

Однако хотя и с опасностью для жизни, но работать все же было можно.

Управитель не тянул долго, забрался в тележку и крикнул рудокопам:

– Не расходись! Сейчас священник сюда с молитвой пожалует!

В полдень наехал батюшка с дьячком. Тут среди терщиков находился и Любимов, пришел и Ефим Черепанов. И все, казалось, шло хорошо. Только Черепанов оставался угрюмым: понимал он, что руднику грозит беда, – большая неминуемая беда, и не от нечистой силы, а от подземных вод. Сколько раз докладывал он об этом управляющему, но тот отмахивался: «Потерпим еще годик, а там увидим!»

А чего ждать, когда все ясно! Конная машина явно не справлялась с водой, сюда бы поставить паровой двигатель, тогда бы все по-иному пошло.

Священник отслужил молебен, окропил шахту святой водой. Горщики, понуря головы, выслушали молитвы иерея, а когда он кончил, покорно подошли приложиться ко кресту.

– Ну, ребятушки, теперь все хорошо. Давай, давай в забой! Работа стала! – заторопил управляющий.

Однако никто из рудокопов не двинулся с места. Наступила такая тишина, что слышалось сопенье насоса да тихое журчанье воды. Ефим молча смотрел на горщиков. Согбенные, усталые, они вызвали сочувствие. Одеты в холщовые портки, в зипунишки да в истертые шапчонки, они посинели от стужи. Вся одежка их пропиталась влагой. А тут еще беда с водой! Кому охота обречь себя на погибель? Не сегодня завтра вода возьмет свое, затопит шахту, – тогда поминай как звали!

– Что же вы приуныли? А ну давай! – повышая голос, строго прикрикнул на горщиков Любимов.

– Боязно! – прошептал Козелок. – А вдруг опять кто почудится!

Черепанов видел: кто-кто, а старый опытный рудокоп Козелок понимал, что работать на затопляемой шахте опасно.

– Ну, тогда ты первый и полезешь! Из-за тебя туману напустили тут! – сердито сказал Александр Акинфиевич, и его серые глаза в упор уставились на старика.

Горщик опустил голову, мялся.

– Не плутуй! Полезай! – отрубил управляющий.

Своей грузной фигурой он стал наступать на рудокопа.

Козелок почесал затылок: упирайся не упирайся, а выходит – надо опускаться в забой. Он первым подошел к стволу и стал спускаться. Плотинный не утерпел, его занимала работа грунтовых вод: следом за Козелком полез и Черепанов...

Один за другим рудокопы стали опускаться под землю.

Только-только добрался Козелок до рудничного двора, как ахнул от страха и от радости.

– С нами крестная сила! – весело закричал он. – Гляди, братцы, да тут гусь! А может, то один морок! – не доверяя своим глазам, с сомнением добавил старик.

– Га-га-га! – весело загоготал гусак.

Черепанов подбежал к нему, а гусь, уставясь на плотинного бусинками глаз, и не думал убегать.

– Ишь ты! – удивился мастер. – В беду попал, крылатый! И каким ветром его сюда занесло? Ба, да это соседская птица! – признал гусака Ефим и растопырил руки.

Гусь захлопал было по лужам, но проворный плотинный поймал его и прижал к груди.

– Гляди, как сердце с перепугу колотится! Ишь ты, сам напугался, да и людей переполошил! – засмеялся он.

Однако на сердце было невесело: вода журчала всюду. Вот-вот, того гляди, совершится потоп! Черепанов с грустью посмотрел на промокших, усталых рудокопов.

«Эх, горемыки вы, горемыки! – тоска защемила сердце. – Подумать только, работать в таком месте: сыро, грязно, вода сочится, холодно. Хорошо еще летом, вылез после работы, и обсушиться на солнышке можно и обогреться, а зимой что за муки!»

Ефим Алексеевич представил себе курную убогую избенку, которая стояла в трех верстах от рудника. Проработав двенадцать-пятнадцать часов в забое, промокшие рудокопы выплывают на свет божий и бегут что есть духу в эту отдаленную избушку! А на земле пурга, метели, уральский пронзительный ветер, от мороза одежонка становится мерзлым коробом. Не всякий выдерживает такую муку! Да и что с людьми делается от работы в медном руднике? Истощение, смертельная бледность губ – все выдает в них болезни. Все жалуются на шум в ушах, тяжесть в ногах и одышку. Еще бы! В конце концов человек быстро сгорает в подземелье. Наступает водянка, и сердце отказывается служить!.. Мысли плотинного прервали окрики.

– Ну, дед – божья душа, глянь, что за архангел слетел к нам! – закричал молоденький рудокоп и озорными глазами показал на гуся. – А ты за нечистую силу принял. Ай-ай! – покачал он головой.

– А ты помалкивай! – угрюмо отозвался старик. – Ты слушай да разумеи, о чем вода земле шепчет!

Его простые слова утихомирили парня. Он вздохнул.

– Ну и жизнь! Того и гляди, угодишь во вселенский потоп!

Черепанов строго посмотрел на горщика, и тот прикусил язык. Под землей не шутят!

Прошла неделя, все, казалось, вошло в свою колею, но однажды ночью вдруг раздался набат. Плотинный вскочил с постели и бросился к окну. От волнения у мастера захватило дух: вдали над медным рудником алело зловещее зарево.

– Батюшки, пожар! – закричал Ефим. Он быстро оделся и поспешил к водоподъемной машине. Там пылали крыша и стропила навеса...

По набату сбежался народ, стали гасить. Одного за другим из шахты подняли рудокопов. Когда последним на-гора поднялся Козелок, кругом клубился синий дым погашенного пожара,

а среди него со скрипом по-прежнему кружилось старое, почерневшее колесо: его и насосы сберегли от огня.

3

Полицейщик Львов повязал старому горщику Козелку руки, в таком виде провел его, позоря, по всему Нижнему Тагилу, а затем посадил за решетку в каменный подтюремок. Рудокоп не знал, за что его шельмуют. На другой день пристав начал допрос арестованного.

– Ты и есть главный поджигатель! – безоговорочно заявил он. – Рассказывай, старый плут, кто тебе помогал в злодействе?

– Помилуй бог, до такого додуматься! – с изумлением и испугом уставился горщик на Львова.

– Не отрекайся, бит будешь! – пригрозил полицейщик.

– Это что же, выходит, сам себя и своих дружков потопить я вздумал! Эх, лучшего, видать, ты не придумал! – с горьким сожалением отозвался шахтер. – Не диво старого человека побить, а вот ты правду разузнай!

Пристав сопел, багровел, рыжие тараканьи усы его топорщились:

– А кто нечистой силой в шахте пугал? Ты! Кто первым побег из забоя? Ты!

– Но я первый и опустил в забой! – строго перебил старик. – А что страх обуял, это верно. Попробуй сам спуститься туда, посмотрим, что запоешь!

– Цыц, плешиный козел! – стукнул кулаком по столу пристав. – Как ты смеешь так с начальством разговаривать!

Козелок опустил голову, замолчал. Веки его задергал нервный тик, и на морщинистую щеку покатились слеза.

– Так! – крикнул довольный Львов. – Выходит, в грехах каешься!

– Я не о том, – с обидой сказал старик. – О жизни своей плачу. Полвека под землей на господ отробил, света не видел, под солнышком всласть не погрелся, горюшка досыта хватил, а иное новая беда настигла. За свой честный труд вон в чем заподозрили! Вот и награда демидовская! – Рудокопщик дрожал от обиды.

– Ты что ж казанской сиротой прикидываешься! – закричал полицейщик. – Коли так, пеняй на себя!

Он схватил старика за шиворот и заорал на всю избу:

– Давай сюда!

В допросную вбежали два стражника, схватили Козелку и повели в клоповник. Что там было, никто не видел. Только проходившие мимо подтюремка женки слышали тяжкий стон. Догадались они:

– Полицейщик Львов, гляди, издевается над старым человеком. Ух, и пес!

Растрепанные женки побежали на Тальянку и рассказали о слышанном горщикам. Рудокопы толпой тронулись к заводской конторе. Только миновали плотину, навстречу им – Ефим Черепанов. Плотинный догадался о беде.

– Погодите, братцы, не торопитесь! – остановил он работных. – Давай обсудим!

Спокойный, уверенный тон мастера подействовал на рудокопов отрезвляюще. Им нравился этот рассудительный, уравновешенный плотинный. Они видели, с каким достоинством он держался перед управителем завода: не лебезил, как другие мастера, не заискивал, не боялся говорить правду в глаза. И на этот раз они охотно послушались его, хоть и кипело на сердце. Тут же на травке, у дороги, расселись и завели разговор. Ефим уговорил их не ходить толпой, – сил мало, всего не перевернешь, а горшую беду на себя накличешь.

– Доверьте, братцы, мне пойти к управителю и толком поговорить! – попросил Черепанов. – В обиду я старика не дам. Великий труженик и честнейший человек он!

– Порадей, Ефим Алексеевич. Постарайся, милый! – раздались голоса, и рудокопы тихо и мирно разошлись по хибарам, а плотинный явился в контору.

Любимов сидел в своей комнате под образами, одетый в черный бархатный кафтан, сытый и важный. Он с озабоченным видом посмотрел на мастера.

– Не вовремя, Ефим Алексеевич, пожаловал, – посетовал он, но все же, указывая на скамью, предложил: – Присядь да рассказывай, что за спешка!

Плотинный не сел. Подойдя к столу управляющего, он недовольно сказал:

– Нехорошее дело дозволил полицейщик Львов. Весьма обидное для работных!

– Да в чем нехорошее? Это по моему указу сделано, дабы неповадно было! – догадываясь, о чем идет речь, с горячностью заговорил Любимов. – Суди сам, кто мог поджечь шахту, если не рудокоп? Не хочется робить в забое, вот и подожгли! Верно ведь? – Управляющий пытливо уставился на мастера.

– Неверно, Александр Акинфиевич! – совершенно неожиданно для Любимова отрезал Черепанов. – Кто это захочет сам для себя мучительной смерти? А оно ведь так выходит! Сжечь насосную машину – значит потопить себя!

– Да такие ворюги и себя не пожалеют! – выкрикнул управитель.

Лицо плотинного покрылось багровыми пятнами, но он сдержался. Холодным, жестким тоном он сказал:

– Не враги мы своему мастерству, а великие труженики! Каждому жить хочется. Хоть и весьма тяжело нам, а не малодушествуем.

В словах мастера прозвучала такая любовь к людям, что управитель рот раскрыл, – не ожидал он такой горячей заступы.

– Ты что ж, Ефим Алексеевич, заодно с работными? Ведь ты не того поля ягодка!

– Одной я черной кости с ними! Я крепостной, и они крепостные! Но не в этом сейчас дело. Зря народ мордуете. Вот что я по всей совести скажу! – Черепанов придвинулся к столу, за которым сидел управляющий, и заговорил с сердечной простотой: – Хоть и тяжка работа для каждого из нас, хоть и трудно им, но верь моему слову, Александр Акинфиевич, никто так свое дело не любит, как труженик! Судите сами, шахту затопляет, каждый день в забое подстерегает беда, а все же горщики не клянут свой труд. Им и самим горько, что их трудное дело может пойти прахом! Никогда рабочий человек не пойдет на вредительство своего дела. Разве только по страшной нужде, когда враг отчизны нагрянет!

Управляющий с изумлением смотрел на мастера. Серые глаза Черепанова выдержали строгий, упрекающий взгляд Любимова. Управитель опустил голову и глухо спросил:

– Чего же ты хочешь?

– Отпусти рудокопа Козелка! Ни в чем не повинен он. А что балясы точит, то это не причина. Шахту свою он любит и знает. А потом, как и балясы не поточить? Кругом такая темень и тягота, что надо хоть словом свою жизнь украсить!

– Не отпущу! – вдруг решительно и сердито заявил управитель.

– Воля ваша, – спокойно ответил Ефим. – Но если без опытного горщика шахту зальет, большая беда придет. Вы в ответе тогда перед хозяевами!

Любимов вскочил, забежал по комнате.

«А ведь и впрямь Демидов тогда не пощадит!» – подумал он и крикнул плотинному:

– Ну, что там еще?

– А еще думаю я, когда станете отписывать Николаю Никитичу о пожаре, то донести надо, что конная машина скоро не справится и затопнет драгоценная шахта. Ей-ей, так и будет в скором времени!

Слова плотинного прозвучали убедительно. Любимов сморщился, словно от зубной боли.

– Пусть будет по-твоему! – махнул он рукой. – Под твою поруку отпускаю рудокопщика. Только никому ни слова. О машине подумай! А когда надумаешь, приходи.

Он снова грузно уселся в глубокое кресло, а плотинный чинно откланялся и поспешил из конторы.

В тот же день управляющий Нижнетагильских заводов написал Демидову донесение о пожаре:

«От 16 октября всепокорнейший рапорт. К крайнему сожалению, нижнетагильская заводская контора должна донести, что на медном руднике на Анатолиевской шахте, где выстроены две водоподъемные машины, или погоны, из коих одна посредством лошадей действовала, а другая запасная в омшанике, где устроены железные трехколейные змейки, сделался пожар.

Сгорел погон, колесо, вал, и в шахте стены обгорели до вассерштольни. А на втором погоне – кровля и стропилы, а колесо и прочее с помощью пожарозаливательных труб от сгорания сохранены. Причина пожара еще не выяснена. Убытков до 1800 рублей. Дня через четыре погон будет восстановлен...

И как вашему превосходительству известно, во что обходится содержание конной водоотливной машины. На содержание конского табуна в год уходит 40 000 рублей, а на пропитание и прикуп людишек в конюхи да в погонщики и того более. К огорчению, надо признаться, что водоотливной конной машине не справиться с откачкой воды, и богатейший рудник может со временем затопнуть. Осмелюсь напомнить вам, что первосортной медной руды вынута нынче миллион пудов.

По сему обстоятельству я беседовал с плотинным Ефимкой Черепановым да с надзирателем слесарного производства Козопасовым, как избежать затопления шахты. Каждый из них свое размыслил, и о том хотелось бы подробнее изложить вам лично...»

Донесение было отправлено в далекий путь, во Флоренцию, где ныне проживал Николай Никитич Демидов.

Тем временем плотинный и плотники исправили водоотливное колесо. Несмотря на улучшение конструкции, насос по-прежнему не справлялся с притоком воды, захлебывался, скрипел, жаловался.

Рудокопщик Козелок вернулся из заключения с потемневшим лицом, но при виде шахты у него по-молодому засияли глаза. Он по-хозяйски обошел водоотливную машину, прислушался к ее тяжелой работе.

– Как и я, с продухом! Эх, старушка милая! – ласково похлопал обновленное колесо старик. – Выручай, родимая! С тобой родились, с тобой и умирать!

Молодой горщик не утерпел и укорил Козелка:

– Нашел чему радоваться, – яме мокрой!

– А ты помалкивай: кому – яма мокрая, а нам – самое дорогое, потому своим трудом, мозолями да смекалкой выпестовали мы ее. Эва, гляди, на всю Расею медь добываем! – В речи старого рудокопа прозвучала неподдельная гордость. Он повернулся и уверенным шагом пошел к спуску.

Глава третья

1

Александр Акинфиевич вызвал в заводскую контору плотинного Ефима Черепанова и надзирателя слесарного производства Степана Козопасова. Каждый из них пришел к управителю со своим проектом. Сейчас они почтительно стояли перед Любимовым, словно перед иконой. Он деловито оглядел их. Мастера выглядели по-разному. Один был степенный, не суетный человек, с пронизательными серыми глазами; он спокойно стоял перед конторкой. Высокий костлявый Козопасов без толку суетился: нетерпеливо переставлял ноги, не знал, куда сунуть снятую шапку. От него слегка пахло винным перегаром. Управитель поморщился, но стерпел и начал разговор с мастерами:

– Призвал я вас потолковать о медном руднике. Как спасти столь драгоценную шахту от затопления? Начни ты, козопасов, потому что у Ефима Алексеевича одна мысль, как построить паровую машину. Шутка ли сказать, надумал он заменить паром двести коней и всю ораву конюхов!

Черепанов сдержанно промолчал. Козопасов молча посмотрел на плотинного, улыбнулся:

– Каждому свое дано, Александр Акинфиевич. Кому талант, кому и два! Спорить трудно, кто выгоднее придумает. Ефим Алексеевич – человек рассудительный, и у него своя правда. Но и у меня есть тоже думка!

Управитель остановил строгие глаза на выйском надзирателе.

– Ты вот что, не блудословь. Ближе к делу! – бесцеремонно оборвал он Козопасова.

Степанко виновато опустил взор, руки его задрожали.

– Слушаю вас, Александр Акинфиевич, – смиренно продолжал он. – Мыслю я, надо ставить вододействующее колесо. Верно, то не новинка, однако это и к лучшему. Испокон веков на сибирских заводах робили только вододействующие колеса, они и спасали!

– Сие мне известно! – вставил Любимов. – Но разумеешь ли ты о том, где ставить колесо, если у рудника ни порядочной речки, ни плотины!

– Это верно! – охотно согласился мастер. – Руднянка маломощна, не поднять ей колеса, а вот на Тагилке можно.

– Да ты сдурел! – рассердился управитель. – За кого меня считаешь? Ведь от шахты до реки всех полторы версты наберется! Ты об этом подумал? – недоумевающе посмотрел он на Козопасова.

Мастер не смутился. Он переглянулся с молчаливым Черепановым и толково ответил:

– Вымерено мною: семьсот пятьдесят сажен, – и на всю длину эту сроблю штанговую передачу. А чтобы двигать ею, колесо поставлю в пятнадцать аршин в поперечнике, вот и сила!

Любимов задумался, мысленно соображая что-то.

– Ну, ты что на это скажешь, Ефим Алексеевич? – наконец обратился он к плотинному. Черепанов встрепенулся, глаза его оживились.

– Спорить не стану, умно придумано! – без зависти похвалил он Козопасова. – И колесо большое поставить можно. Выдержит! Только есть тут и свои затруднения.

Надзиратель слесарного производства нахмурился и ждал, что дальше скажет Ефим. Тот помедлил и со знанием дела закончил:

– Штанги на большое пространство будут подвешены на рамах, от сего по законам механики трение обозначится великое. Надо это учесть – раз. А второе, жаль речной силушки. Много воды заберет колесо, а она и заводу до зарезу надобна!

– И Ефим Алексеевич прав! Обо всем мною думано и учтено! – согласился Козопасов. – Немало трудностей будет, но не без этого такое дело родится!

– Н-да! – в раздумье произнес управитель. – Надо об этом помозговать да толком изложить хозяину. Их превосходительство в машинах разумеет, многое превзошли. А ты, Ефим Алексеевич, на своем настаиваешь?

– Настаиваю. И так думаю я, что паровая машина легче воду откачает! – уверенно отозвался Черепанов.

Любимов иронически прищурил глаз на плотинного:

– А помнишь меленки на речушке? Сколько твои паровички лесу перевели. А вода, хвала господу, вот она, бери и пускай! Как ты думаешь?

– Я на своем стою, – упрямо ответил Черепанов.

– Кремень, а не человек! – не без сожаления сорвалось с языка управителя. – Вот что, мастера, идите по домам и подсчитайте, во сколько стройка и та и другая обойдутся!..

По всему видно было, что Любимов не решался сам рассудить спора. Он встал из-за конторки и, скрипя козловыми сапогами, подошел к окну. Закинув руки за спину, он долго смотрел на отлогие скаты горы Высокой, на домики, разбросанные по Тальянке, как отары серых овец.

– погоди, Козопасов! – остановил он мастера. – Неужто хибары срывать придется, чтобы пропустить штанги?

– Николи! Штанги на столбах над домами пройдут, выше крыш! – сказал тот, надевая шапку.

Вместе с Черепановым он вышел из конторы и пошел по заводскому поселку.

– Ну, спасибо, Ефим Алексеевич, – вдруг сердечно сказал Козопасов. – Шел я сюда и, по совести сказать, сильно боялся. Вдруг, думаю, да ополчишься ты против меня.

– Строй, Степан, свою штанговую машину! – доброжелательно отозвался Черепанов. – Каждый по своей стезе пойдет, а думка у нас одна с тобой, как бы рудник спасти!

Они шли по задымленной дороге, а вслед им в окно смотрел управитель и думал:

«Дивно, у обоих золотые руки, а стремления разные. Один назад оглядывается, а другой – Черепанов – вперед стремится! Пар или водяное колесо, чья возьмет? Вот и разберись, голова от дум ломится!»

2

Из Италии от Николая Демидова пришло в Нижний Тагил требование: прибыть во Флоренцию для доклада самому управляющему заводом Любимову. Видимо, владелец не на шутку беспокоился о судьбе медного рудника. Предстояло проделать большое путешествие, но Александр Акинфиевич хорошо понимал, что Демидов не терпит оттяжек в исполнении своих желаний, поэтому быстро собрался и заторопился в далекую Италию. Через всю Россию проехал Любимов по санному пути, нигде не задерживаясь.

В феврале за Дунаем путешественника встретила весна. Здесь уже отшумели вешние воды, голубой Дунай разлился широко. Ветер был теплый, мягкий, навстречу летело много перелетных птиц. Любимов загляделся на величественную реку.

– Эх и силен! Эх и прекрасен свет Иванович Дунай! – восторженно вырвалось у него. Но тут же он загрустил: – Наша Камушка-река, поди, еще под ледовым одеяльцем лежит!

Перевалив Альпы, уралец сбросил тяжелые зимние одежды. Перед ним голубел необъятный синий простор. Все цвело, пело, радовалось жизни. Южный теплый ветер легонько колыхал платаны, каштаны, лавры, мирты – зеленый океан рощ, укрывавших небольшие итальянские городки. Коляска Любимова катилась мимо этих крошечных городков, где бедность капризно сочеталась с богатством: полуразрушенные лачуги, обвешанные сушившимися лох-

мотями, грязные дворики и полуголые, голодные дети, которые долго бежали за экипажем, выклянчивая подачку. И рядом белоснежные виллы, как лебединые крылья, раскинувшиеся среди прохладной густой зелени садов. На площадях встречных селений высились старинные церкви ломбардского стиля с ажурными колоколами. Александру Акинфиевичу казалось, что во всех узких амбразурах этих колоколен вставлены синие стекла, – такое чистое лазурное небо виднелось сквозь них.

Там, где вздымались горные отроги, по ущельям бешено неслись, клубясь пеной, стремительные потоки. В Апеннинах недавно прошли дожди и напоили пересохшие ручейки.

Земля дышала изобилием. Солнце непрерывно слало свое тепло на хорошо возделанные нивы и сады, лучи золотым сиянием прорывались сквозь листву каштановых рощ.

Любимов восторгался, когда в голубой светящейся дали встала Флоренция. Чем ближе подъезжал он к ней, тем все оживленнее становилось на дорогах. В глубокой долине извивалась живописная Арно, над ее прохладными водами раскинулся чудесный город. Вот и улицы! На них кипит жизнь. Кажется, вечный праздник снизошел сюда. Купцы, ремесленники, горожане и вельможи одинаково непринужденно вели себя среди улиц и площадей прекрасного города. На площади – собор, уходящий ввысь ажурным орнаментом. Тяжелые, изукрашенные резьбой двери распахнуты, и из глубины храма несутся на площадь тихие тоскующие звуки органа...

Узнав в Любимове иностранца, за экипажем толпой побежали загорелые оборванные дети.

Управитель без труда отыскал местопребывание своего господина. Демидов занимал белокаменное палаццо, утопающее в зелени сада. В сияющем золотом и голубизной воздухе возносилось мраморное творение талантливого зодчего. Стройные колонны казались сквозными, а барельефы – четкими, живыми. На воротах этого старинного дворца помещался резанный на камне герб рода дворян Демидовых. Из-за ограды лился тонкий аромат цветущего сада, трав и цветов. Сюда не доносился шум торговых кварталов города, только в глубине сада раздавалась тихая и наивная песня садовника.

Любимов с волнением поднялся к двери и, взяв молоток, постучал им в толстую матовую медь. И сейчас же на стук вышел высокий, широкоплечий человек в бархатном камзоле, в шелковых чулках и башмаках с пряжками. Вид его был величествен и строг, он надменно взглянул на пыльного путешественника, но тут лицо его мгновенно преобразилось широкой радушной улыбкой.

– Александр Акинфиевич! – обрадованно вскрикнул слуга и бросился к тагильскому управителю. – Из России! Из наших краев!

– Орелка! – в свою очередь возопил уралец.

Они поздоровались и долго смотрели друг на друга. Слуга Демидова засыпал прибывшего вопросами, в которых сквозила нескрываемая и необоримая любовь к своей земле.

– Как там, еще снега? Только недавно Масленица минула? Блинами небось отъедались!

Каждый пустяк, сообщенный Любимовым о России, вызывал в Орелке взрыв радости. Он сиял весь, ахал и все повторял:

– Ну и ну! Дивно! Хошь бы на серого российского воробышка одним глазком взглянуть!

– Небось соскучал здесь? – пылливо уставился тагилец.

– Соскучился, ой, как стосковался! – искренно признался Орелка.

– Красота кругом: и небо, и сады, город столь славный и...

Начав свои суждения, управитель запнулся, впившись глазами в открытую дверь. В потоке солнца улыбалась, сверкая изумительно белыми зубами, подвижная и глазастая молодая итальянка.

– Кто же это? – полуиспуганно, почтительно спросил Любимов.

– Мариэтта, служанка! – небрежно ответил Орелка.

– Ох, и девка! – глубоко вздохнул от зависти Александр Акинфиевич и не мог оторвать взора от служанки. Глаза ее, полные пламени, смеялись, и вся она казалась воздушным видением – так дивно хороша была собой.

– Пустяк! – поугрюмел демидовский крепостной. – То не по нас девка! Близир один! – отмахнулся он.

– Какого же хрена тебе надо! – удивился Любимов. – Экая благолепность, красота. Очи чего стоят! С ума сойдешь!

– Суета! – не уступал Орелка. – Не в том счастье!

– А в чем же? – спросил тагилец.

– Ах, Александр Акинфиевич! – вскричал от всего сердца Орелка. – Мне бы в Россию, на санках промчаться да с морозу горячих щей похлевать! Да ржаного хлебушка пожевать! А здесь разве настоящее! – пренебрежительно оглянулся он на Мариэтту.

А служанка, очевидно не понимая русской речи, приятным взглядом обласкала Орелку.

– Господин выбыл по делам, а вас милости просим, – пригласил слуга. Он провел тагильца в покои для приезжих. Любимов с любопытством оглядывал дворец. Залы переполнены статуями, картинами, гобеленами, бронзой, вазами, невиданной мебелью.

– Музеум! Подлинный музеум! – в восторге прошептал управляющий и, завидя под широким окном обломок мрамора, остановился, пораженный мощью и красотой торса неведомого изваяния.

– То Геркулес! – пояснил Орелка.

В фигуре недоставало головы, ног, рук и верхней части груди, но что за сила и красота чувствовались в этом дивном обломке! Он высился подобно мощному стволу прекрасного дуба, лишённого тенистой кроны, шелест которой в былые годы привлекал в свою прохладную тень утомленного путника. Орелка тоже воспламенился.

– Посмотри, а вот еще диво! – указал он на мраморную статую купальщицы. Молодая девушка, чистая и спокойная, сбросила с себя последнюю одежду и готовилась сойти в бассейн. На одно мгновение она задумалась, и столько было очарования, прелести в повороте ее строгой головки, в движении руки, стыдливо прикрывшей маленькую грудь, что Любимов не утерпел и, радуясь, как ребенок, сказал:

– Диво! Сама обнажена, и нисколько греховного!

– В том чародейство мастера! – отозвался с пониманием Орелка и предложил тагильцу: – Отдохните с дальнего пути, тогда поглядите, сколь дивные творения хранит в сем палаццо наш господин. Здесь имеются дары великого мастерства Рафаэля, Бартоломео, Пизано, Донатти... Сия купальщица его творение.

– Откуда тебе ведомо все это? – с изумлением спросил тагилец.

– Господин только и печется о сих произведениях мастерства. Наслышан и сам пленен чародейством. Довелось мне, сопровождая господина в Рим, побывать с ним в храме делла Ротонда, у гробицы Рафаэля, а до того в том храме, в древности, был пантеон римского полководца Агриппы, и сей государственный муж был человек незнатного происхождения. Это поразительно, сударь! – с горячностью сказал демидовский слуга и поразил Александра Акинфиевича своей осведомленностью в искусстве.

«Вот ты и гляди, мужик, истый расейский мужик, а сколь разума в художестве!» – в раздумье покачал он головой...

Во дворце было пустынно, только слуги мелькали бесплотными тенями по залам и переходам. Овдовевший Николай Никитич жил в палаццо один-одинешенек. Сыновья Павел и Анатолий пребывали в Париже. Санкт-петербургская главная контора по указу Демидова слала им большие суммы. Старший, Павел, вел рассеянную жизнь, стараясь прошуметь среди французской знати, а младшенький, тринадцатилетний Анатолий, изучал науки в лицее. Оба совсем оторвались от родной земли, не знали ее, потеряли в себе все русское.

Орелка провел уральца в прохладную комнатку. В распахнутое окно виднелся цветущий сад. Указав на широкий диван, слуга предложил:

– Вот тут и располагайтесь, Александр Акинфиевич.

Но Любимову было не до отдыха. Он сидел у окна, смотрел в сад и думал о хозяине.

«Гляди, куда ведут пути человеческие! Строитель заводов Никита Акинфиевич сам не гнушался работой, а сынки Николая Никитича не знают, где и заводы их, не пекутся о них, а живут, яко птицы небесны. Тунеядство? Но то самим Господом Богом заведено: одним век свой на работе маяться, а другим – в богатстве и роскоши пребывать!» – старался он оправдать паразитство своих господ.

Голова тагильца кругом ходила – слишком много необычного довелось ему видеть в этот день. То глаза Мариэтты-служанки чудились ему, то дивный торс Геркулеса, то купальщица Донатти, или вставал разодетый важный Орелка, все еще сохранивший в себе русскую мужицкую душу.

Так незаметно и задремал гость.

Позвали Любимова к хозяину на другой день. Николай Никитич принял управителя в большой светлой гостиной. Подходил к ней тагилец с замиранием сердца – сказала давняя рабская привычка. Демидов сидел в глубоком кресле, ссохшийся, сутулый, с впалыми щеками. Ему было немногим более полусотни лет, но старческие немощи одолели его. Тусклыми глазами он посмотрел на управителя и благосклонно протянул ему худенькую руку, сверкавшую драгоценными перстнями. Любимов почтительно поцеловал ее.

– Здравствуй, – приветливо сказал Николай Никитич. – Ну, как в нашем уральском царстве поживают подданные, холопы мои?

Любимов почтительно стоял перед ним, покорно склонив голову. Ему было жалко немощного хозяина и страшно перед ним. Маленькое, незначительное лицо Демидова, тщательно выбритое, с зачесанными вперед височками, выглядело старчески.

– Только вашими милостями и процветаем, господин наш! – льстиво заговорил управитель. – Заводы пребывают в прибылях и в изрядном устройстве по радению вашему.

– Ты мне о медном руднике скажи. Все ли благополучно?

– Грозит затопление, спасать надо, машину ставить новую, но коштловато весьма! – робко доложил Любимов.

– Ты не о расходах пекись. Ведомо тебе, что здоровье и жизнь самого ничтожного холопа моего дороже мне всего! Истомлюсь, если дознаюсь о беде. Найди искусника в гидравлике и в механике, дабы отвратить бедствие на шахте!

Хотя хозяин и делал вид, что тревожился о работных, но управитель чутьем понял, о чем на самом деле тужил он.

– Иноземцы дорожатся, господин мой, да и внедряться не хотят в нашем краю. Пример – Ферри! Да и кто их знает, сколь способны они на разумные дела. Шумят, хвалятся, а толку мало. Видимость одна!

Александр Акинфиевич говорил медленно, внимательно поглядывая на Демидова, стараясь по выражению его лица понять, угодил ли ему своей речью.

– У нас, на Камне, есть свои два крепостных умельца: Ефимка Черепанов и Степанко Козопасов. Они взялись с водою справиться и предлагают свои прожекты: в конторе рассмотрели их, все выходит умно, но к опытам не возымели смелости допустить мастеров, господин.

– Что же такое? В чем дело? – недовольно поморщился Николай Никитич.

– Машины, которые надуманы нашими умельцами, разные. Они отменяют собою конские табуны, конюхов, – ни к чему сие окажется. То великий резон! Экономия. Но возведение каждой машины обойдется, господин мой, не менее как по семи тысяч рублей ассигнациями.

– Дорого! – вспыхнув, перебил докладчика Демидов. – Однако не семи тысяч жалко, а так разумею, наши доморощенные гидравлики все по глазомеру строят, а сие может подвести.

И деньги наши трудовые впусте окажутся израсходованными. Ай, ай, семь тысяч! Подумать только! – захохотал хозяин.

«Но в руднике же люди могут погибнуть!» – хотел вымолвить Любимов, но вовремя прикусил язык и, слегка заикаясь от волнения, сказал:

– Все так, господин мой, подлинно жалко такие деньжища кидать, но горше будет, если шахта обрушится и миллионы пудов меди от нас уйдут. Разор чистый!

– Разор! – согласился хозяин и беспокойно заворочался в кресле. – А скажи, сколько времени потребно на работу наших механиков?

– Просят сроку год! – ответил Любимов.

– Ох, горе, разоряют! А все жалости мои человеческие к холопам! – пожаловался Николай Никитич. – Но что же делать, если другого выхода нет. Пусть стараются, а который устроит машину ранее, объявить от меня особую награду. Ну, с сим делом покончили...

Демидов устало отвалился на спинку кресла, полузакрыв глаза. Управитель боялся пошевеливаться; так и длилось тягостное безмолвие.

– Ах, ты еще здесь! – поднял, наконец, голову хозяин. – Еще не все. Отправляйся на мою фабрику, где шелк прядут. Огляди! Может, чему и научишься для наших уральских заводов. Иди! – Он протянул руку, Любимов облобызал ее, и Николай Никитич снова устало закрыл глаза...

3

Управитель Нижнетагильского завода побывал на шелкопрядильной фабрике Демидова. На окраине Флоренции, в глухих скученных кварталах над рекой Арно, в тесноте гнездились грязные приземистые здания, сложенные из серого камня. Александр Акинфиевич, вступив за порог одной из таких трущоб, с минуту ничего не видел, так мало было света в низком мрачном помещении, по которому разносился ритмичный шум веретен. Казалось, в полутьме гудел потревоженный улей. Привыкнув к скудному освещению, тагилец увидел несколько десятков бледных, изможденных итальянок, стоявших у грубых ткацких станков, на которых впору было бы работать сто лет тому назад. Среди изнуренных работниц было много детей, мальчиков и девочек десяти-тринадцати лет.

«Гляди, что творится, – и тут без ребят не обходится фабрика!» – подумал Любимов и обратился к худощавой, с ярким нездоровым румянцем на щеках работнице:

– Скажи, милая, хорошо ли тут работается ребятам?

Сопровождающий управителя Орелка перевел итальянке его вопрос.

Женщина угрюмо посмотрела на Любимова и еще угрюмее кивнула в сторону станков. За ближайшим из них мальчик, работая, стоял на табуретке – так мал был этот хилый, с длинной худой шеей ребенок, кормилец семьи! Таких, впрочем, немало усмотрел тагилец за станками.

– А все-таки ты спроси ее о ребятках! – снова попросил он Орелку.

Демидовский холоп с важным видом опять обратился к работнице. Она сверкнула сердитыми глазами и что-то вызывающе ответила.

– Дьяволица, как смеешь ты так говорить! – испуганно прикрикнул Орелка. – Дознается о том хозяин, худо будет!

Любимов схватил демидовского слугу за полу.

– А скажи мне, дорогой, что она ответствовала? Больно нехорошее?

Орелка в нерешительности топтался на месте.

– Кто их тут разберет! – недовольно проворчал он.

– Ну скажи, милый! – не унимался тагилец. – Мы оба холопы у одного господина, и нам все должно видеть и знать!

– То верно! – согласился Орелка и оглянулся. – Вишь, разошлась сия паскудница на хозяина. Хорошо, говорит, ребятам живется у Демидова: с утра до ночи тянет он шелковую пряжу из жил маленьких детей!

– Ух ты, сатана, что клепает на господина! – вспыхнул Любимов.

Из-за недостатка воздуха в помещении он тяжело хрипел, задыхался, давала знать одышка.

– Идем отсюда! – предложил Орелка. – Поглядели, и хватит!

– Голодная рвань, а тож – свое суждение имеет! – все еще не мог успокоиться управитель. – Не хочешь за кусок хлеба робить, не веди сюда дите! Вольно же тебе!

– Э, нет, Александр Акинфиевич, то не выйдет! Ребячий труд самый дешевый. А хозяева фабрик только и думают побить своих конкурентов низкой ценой на ткань! – Орелка говорил медленно, рассудительно. – Где найдешь дешевле рабочую силу, если шелкопряд получает гроши? Ни мяса, ни молока не видят эти детки, вот женки и пыхтят недовольством! Так живут по всей Ломбардии эти хлопотуны. А как обойтись тут без ребятенка? Хотели запретить, так Николай Никитич и здешние фабриканты выставили свое суждение: тонкость шелковой ткани требует нежных пальцев, а они только и бывают в отроческом возрасте!

– Согласен. Умно рассудили хозяева! – одобрил Александр Акинфиевич суждение Орелки; не знал он того, что холоп про себя хмуро подумал: «Умно? Ишь ты! Из-за нежных пальцев убивать ребят, как рогатый скот у нас в России быют из-за кожи и сала!»

Жилось слуге у Демидова сытно, привольно, но дух у Орелки все еще сохранялся непокорный. Не любо его сердцу было холопство! Так и жил он раздвоенно, почитая и в то же время ненавидя своего господина. Бывали минутки, когда у него вспыхивало стремление к побегу, но он сейчас же старался погасить его. Тяжело вздохнув, повел он Любимова к экипажу.

– А шелк какой, нежнейший, с ясными отливами, ткут на фабрике нашей, ни в жизнь никому тут не сравниться с Демидовым! – оживленно заговорил Орелка, стараясь развеять мрачное впечатление от фабрики.

Они ехали в экипаже через всю Флоренцию, где каждый камень был напоен солнцем, согрет им и где высились чудесные дворцы, но среди всего этого богатства и веселья не было места простому рабочему человеку!

Придя к Николаю Никитичу, Любимов лгисто расхваливал фабрику и тем обворожил хозяина.

Демидов много говорил о Флоренции, о зодчих, о славе флорентийских торговых людей Медичисов, когда-то знаменитых в этом старинном городе Италии. Николай Никитич любил Флоренцию и всегда, как бы вскользь, сравнивал свой род с Медичисами. Это давно и хорошо усвоил тагильский управитель и сейчас рабски внимательно выслушал хозяина, не сводя с него восхищенных глаз...

«Вот идол, как ловко умеет притворяться!» – глядя на Любимова, подумал Орелка.

Пробыв в Италии месяц, Александр Акинфиевич собрался в обратный путь. Перед отъездом он выслушал указания Демидова по Тагильскому заводу и земно поклонился господину.

Прощаясь с Орелкой, он поблагодарил его:

– Ну, братец, спасибо за ласку и прием. Много благодарен. Скажи, чем порадовать тебя, что прислать из России?

– Ничего мне не надо! – смиренно сказал Орелка. – Стосковался я по своему небушку да белоствольной березке. Поклонитесь им. Ну а если уж думаете порадовать, пришлите мне горсть родной земли! Хоть глазком взглянуть на нее и подышать, чем пахнет! Эх, матушка Расея! – вздохнул он, и глаза его затуманились неподдельной грустью.

Экипаж тронулся, пересек площадь и скрылся за углом палаццо, а Орелка все стоял и думал о своей далекой и прекрасной земле.

4

Черепановы приступили к работе над водоотливной паровой машиной. Плотинному разрешили расширить свое механическое заведение, которое и до этого обслуживало Нижнетагильские заводы. В обширном бревенчатом срубе стояли слесарные и токарные станки, приводившиеся в движение заводским вододействующим колесом. Много положили труда механики на оборудование мастерской, из которой за последние годы вышло немало разных инструментов и диковин. Они изобретали, составляли проекты и строили самые разнообразные установки: воздуходувные, прокатные, молотовые, мельничные и лесопильные. В своей мастерской они сами придумали и изготовили станки: токарные, строгальные, сверлильные, винторезные и штамповальные. Все это они сделали чисто, необыкновенно точно, и инструменты, созданные их руками, отличались изяществом. Всякий из горщиков, беря такой инструмент, радовался и говорил:

– Ну, это черепановская работа!

Приятно было работать безотказным и точным инструментом.

Перед тем как приступить к выполнению своего замысла, Ефим с сыном спустились еще раз осмотреть шахту, чтобы вернее произвести расчет машины. Спуск шел по крутой скользкой лестнице-стремянке. Внизу – темная бездна, а по стенам колодца сбегает вода, сыро, грязно и неприветливо. С непривычки казалось страшновато лезть в эту сырую темную могилу. Лестницы сменялись узенькими и тесными площадочками, на которых можно было перевести дух, а затем спускаться глубже. Так, минуя лестницу за лестницей, с замиранием сердца мастера добрались до рудоразборного двора, откуда, как черные норы, расходились низкие тесные штреки. Сразу стеснило дыхание: пахло серой, застойной гнилой водой, пороховыми газами. Рудокопы взрывали каменные породы, прокладывая путь к медной руде. Под ногами хлюпала зеленоватая вода, она стекала по осклизлым бревнам-подпоркам. Царство вечной тьмы плотно охватило Черепановых. Подчеркивая этот мрак, по всем направлениям тускло мерцали робкие огоньки шахтерских ламп. Люди сливались с черным мраком, и поэтому казалось, будто светлые точки двигались сами собой, словно блуждающие огоньки, которые обычно вспыхивают и разгуливают над трясиной, наводя страх на суеверного человека.

Мирон с гнетущим чувством оглядывался на тусклые желтки света, прислушивался к звуку падающих капель. Так вот оно, таинственное подземелье, о котором среди горщиков ходило столько страшных рассказов! Угрюмо нависли сырые стены, грозившие придавить, как могильной плитой.

– Эй, эй, берегись! – разнеслось по штольне, и вслед за этим раздался оглушительный грохот, похожий на громовой удар. Секунда – и тотчас сверкнула молния. Казалось, над головами разразилась гроза с потрясающими раскатами. Эхо лабиринта подхватило и умножило грохот. И, как вспышка гневной бури, раскаты покатались вдаль, глухо ворча и постепенно угасая. Подземелье наполнилось удушливым дымом. Он густо, плотным туманом висел в воздухе и при свете рудничных ламп принял багровый оттенок.

Постепенно все поднялось вверх, и снова наступила гнетущая тишина.

Черепановы стояли в нише, плотно прижавшись к сырым камням. Из мрака в тусклом озарении лампы высунулось бородастое лицо и, ощерившись, смотрело на мастеров. Ефим обрадовался.

– Козелок! Эй, друг, принимай гостей! – повеселевшим голосом окликнул он.

Тяжело дыша, рудокоп отозвался:

– Жалуй, жалуй, давно поджидаем. Идем за мной, покажу наши дворцы! – в голосе горщика прозвучала горькая насмешка. Он повел механиков по штольням, тут и там мелькали огоньки. В мрачных забоях извивались, как черви, рудокопы, дробя кайлом каменную грудь

своей норы. Их было много тут, неизвестных трудяг, создавших сказочное богатство Демидовых. Сколько их потонуло в разных шахтах, погибло от тяжелой работы, от скудной еды, от болезней и просто было покалечено жестокими заводчиками. Тысячи их многие годы надрылись, работали не покладая рук, создавая и умножая горные промыслы, но слава шла по свету не об этих людях, а о хищных тунеядцах Демидовых.

Завидев в шахте Черепановых, рудокопы повеселели: они знали, зачем механики спустились в забой.

– Родимые вы наши, порадейте для народа! Сил нет, одолела вода.

Мастера и сами видели, как тяжело здесь работалось людям.

Козелок время от времени приостанавливался, прислушивался к звукам падающей воды.

– Слышишь, по нас плачется! – с тихой душевностью сказал он. – Она, брат, жалеет нас. А мы ее тож бережем, согреваем ее своим потом, теплом и ласковым словом!

В полдень Черепановы выбрались на-гора. Под скупым солнцем сияли снега, под ногами весело поскрипывало от мороза. Не откладывая дела, отец и сын отправились в свое механическое заведение и взялись за работу. Обоих увлекло задуманное; они не жалели ни сил, ни времени. Не всегда все шло гладко. Хотя Ефим хорошо изучил чертежи Ползунова, но он придумывал свое, лучшее. Часто Черепановы часами просиживали молчаливо, обескураженные неудачей.

Ефим вставал ночью, бродил по избе и стонал, словно от зубной боли.

– Что же теперь делать?

Евдокия гнала его в постель:

– Будет, отец, будет! Не терзайся!

Она уже пожилая, но все еще красивая женщина, улыбалась ему:

– Не кручинься, не горюй: не все будут донимать печали, придут и радости! Поспи, глядишь, – и в голове прояснит!

Время между тем шло. Козопасов с плотниками строил у плотины огромное вододействующее колесо; по рабочему поселку разносился стук топоров, визг пилы. Над дворами, над полем, от реки до шахты побежали ряды столбов. В кузницах громыхало железо: кузнецы ковали штанги, крючья – необходимое поделье для задуманной машины. Степан ходил сейчас веселый, лицо его посвежело, и глаза молодо блестели. Он пересилил свою слабость к вину, а когда подходила «смутная минутка», то сам брал топор и становился в ряд с плотниками, в горячей работе отвлекаясь от соблазна. Нередко он забегал в механическое заведение Черепановых и рассказывал о стройке. Странное дело, теперь он не суетился, не егозил, как прежде, заикание его как рукой сняло. Говорил он неторопливо, толково, гордясь своей выдумкой.

В тихие зимние вечера в механическом заведении светились огоньки. Хорошо работалось в такие безмолвные часы! Иногда «на огонек» забегал Степан Козопасов и начинал мечтать:

– Работаю или сплю, а все перед собою вижу волю! Ах, Ефим Алексеевич, знаю, что я не только машину лажу, но и волюшку себе добываю! Эх, развернулся бы во всю силушку, да везде утеснение.

И Черепановы мечтали о том же. Не о себе думал Ефим. Он что? Век доживает. А вот сын Мирон – умная и светлая голова, как ему жить в крепостной неволе?

За окном выла вьюга, а они втроем присаживались к раскаленному горну, мечтательно смотрели на пламя и думали о будущем.

В душе Ефима иногда просыпалась зависть к Козопасову, но, твердый характером, он быстро тушил ее. Не знал он, что злые люди пытались стравить изобретателей. И кто бы мог подумать, что это шло от самого Николая Никитича, который обрелся во Флоренции. Демидов слал письма, не переставая интересоваться медным рудником и механиками. Осторожно, по-иезуитски, он советовал Любимову:

«Как Черепанов и Козопасов люди одного ремесла, то всегда между ними есть ревность, зависть, а нам надлежит извлечь из этого пользу. Надо посоветоваться с Черепановым в конторе, потом порознь призвать Козопасова, но чтобы Черепанова тут уже не было, и с ним посоветоваться. Уверяет меня Николай Дмитриевич, что Козопасов умнее, опытнее и более свое дело знает, хотя и молчит. Нередко случается, что человек на словах боек, но на деле слабощен. Впрочем, приказчикам оные люди коротко известны. Что по сему будет, тотчас мне рапортовать».

Управляющий Нижнетагильского завода хорошо знал своего хозяина, но на хитрость отвечал лукавством и в ответ писал:

«У Черепанова и Козопасова ссор, как они отзываются, никаких не имеется...»

Однажды Мирон, молодой и самолюбивый, заволновался и пожаловался отцу:

– Батюшка, Степанко опередит нас, и наша машина будет ни к чему!

Отец сдержанно улыбнулся в бороду:

– У тебя, сынок, глаза завистливые. Стоящий человек свое должен взять не завистью и не пакостью по отношению к другим, а творением своего ума и рук. Ты, Миронушка, веди себя спокойнее. У каждой машины будет свое, а наша выйдет с размахом на будущее! – ответил он ровно и спокойно.

Глядя на степенного отца, сын проникся уверенностью в успехе. Ефим продолжал:

– Я поболее твоего жил и видел, да и поработал немало! Много сделали вот эти руки! – Взором показал он на мозолистые шершавые ладони. – Есть чем и мне похвастать, но не в хвастовстве дело! Кичливость – грязная пена! Снесет ее могучий поток, и никто не вспомнит. Вот гляжу на тебя и не знаю, что сказать. Не хочется уступать младшему, а скажу прямо: пойдешь ты, сынок, дальше моего, и то сильно радуется меня! Только бери не хвастливостью и завистью, а трудом и думками!

У Мирона покраснело лицо. Похвала отца что-нибудь да значила!

В механическое заведение часто навещался Козелок. Он приходил и молча усаживался в уголку, тихо наблюдая работу механиков. Мастер стоял перед станком, в котором быстро вращался валик, и дивным дивом казалась ему работа черепановского сына. От резца вилась дымящаяся стружка. Она вилась тонкой длинной змейкой и на глазах играла всеми цветами: то была золотисто-оранжевая, то густо-синяя и, как живая, дрожала, изгибалась и, обламываясь, падала в ящик. Металл под руками мастера казался мягким и податливым.

«Ну что за дивное мастерство!» – восхищенно думал старик и не мог оторвать глаз от станков.

Не один он ждал черепановской машины, ее с нетерпением ожидали все горщики медного рудника. Вода в штольнях в этом году прибывала сильнее, и все опаснее было спускаться в шахту.

Осенью 1827 года Степан Козопасов первый закончил свою штанговую машину. Со всех уголков Нижнего Тагила бежали люди посмотреть на пуск диковинки. Мирон волновался, нервничал, но отец твердо сказал свое: «Пойдем и мы, ведь это праздник для всех рабочих!»

Они вышли из мастерской. Стоял яркий солнечный день, однако лес на горах поугрюмел, притих. Полет ворон и галок стал тяжелее. Над прудом дымился туман, воздух был свеж и влажен. Среди густой тишины раздался металлический звук, а вслед за этим заскрипели-закачались штанги. Они качались размеренно, неторопливо, как длинные железные руки, и передавали силу водяного колеса к водоотливным помпам. Стаи ребятишек с восторгом носились вдоль столбов, разглядывая сооружения, а неподалеку, в обширном тесовом срубе, с шумом двигалось огромное колесо, ворочая толстый вал с железными шипами, подшипниками, приводя в движение штанги.

А на другом конце завода столпились коногоны, горщики, прислушиваясь к работе машины. Она добросовестно и жадно выкачивала из рудника воду. Вокруг бегал взлохмаченный, взволнованный Козелок и восторженно кричал:

– Братцы, братцы, гляньте, что робится! Милушка-голубушка, вот коли спасение пришло!

Все смотрели на Степанку Козопасова, который и сам ходил словно хмельной. Вот когда настал счастливый час! Он ждал, что Любимов вот-вот вынет из кармана указ Демидова о даровании ему воли, но управитель очень тщательно оглядел машину, со злой улыбкой посмотрел на коногонов и сказал им:

– Что, мужики, отробились! Ну, Степан, едем в контору! – пригласил он Козопасова в тележку.

Мастер сел рядом с управителем, и кони тронулись. От рудника до конторы рукой подать, но за этот короткий путь Козопасов много раз переходил от радости к отчаянию, от разочарования к надежде.

«Не может быть, чтобы обошли! Экий рудник спас!» – стараясь убедить себя, думал он.

В конторе Александр Акинфиевич выложил перед Козопасовым тысячу рублей ассигнациями.

– Гляди, милоч, сколь щедры наши господа! – с лукавством сказал он.

Мастер медлил, все ждал чего-то. Управитель нахмурился.

– Аль недоволен чем? Забавно!

Степан молча взял деньги, нахлобучил шапку и, сгорбись, покинул контору...

Три дня никто не видел Козопасова. На четвертый его отыскал Черепанов у тайной кабатчицы. Степанко был пьян, мрачен.

– Негоже так! – сурово сказал ему Ефим. – Великое дело сробил, а загулял, будто с горя!

– С горя и от обиды! – хрипло выкрикнул Козопасов, и по щекам его покатились слезы. – Ждал вольной, а вот она где, вольная! – схватился за бороду механик. – Поманила, и нет!

– Обида, жестокая обида! – согласился Черепанов. – Но и то рассуди, сколько народу спасла твоя машина от потопа, радуйся. Того и ждали, что не сегодня, так завтра хлынет поток в забои... Идем, Степанко, тебя ищут! Чего стоишь?

Растрепанный, с блуждающими глазами, пошатываясь, Козопасов поплелся за Ефимом. И у Черепанова нехорошо стало на сердце.

«Вот она, наша доля!» – с огорчением подумал он, поглядывая на товарища.

Не знал он, что в письме о машине Козопасова Демидов писал управителю завода:

«А как во всем начальник должен быть еще более награжден, то чтобы сделать удовольствие Александру Акинфиевичу Любимову, даю отпускную его зятю, а сестре его приданое из конторы 2000 рублей ассигнациями».

Вот как обернулось дело!

5

Только в работе и забывались Черепановы. Мирон старался изо всех сил: сколько умных приспособлений придумал он, чтобы упростить машину, облегчить ее. Каждая выполненная им деталь, взятая в руку, сверкала чистотой отделки и радовала сердце. Большой талант таился в широкоплечем высоком парне, на верхней губе которого золотился пушок. Только он да отец могли с такой тонкостью отполировать цилиндры и подогнать к ним поршни. Работа спорилась. За нею незаметно ушла осень с темными волчьими ночами, убрались осенние воды из пруда: жадно выпил их большой Тагильский завод, не мало пропустило их вододействующее колесо Козопасова. Заметно для глаза понизился горизонт прудовой воды, обнажились прибрежные серые валуны. Река Тагилка хорошо замерзла. В заводях и протоках заблестел под скупым

солнцем зеркальный лед, такой прозрачный и тонкий, что сквозь него видны были мшистые камни на дне, водоросли и рыбы резвые стайки. По утрам потрескивали морозы, стужа сковала горные потоки. Могучие кедры над речным яром стояли тихие, темные.

В одно октябрьское утро в избе внезапно посветлело. Ефим подошел к окну. Все сверкало кругом чистой белизной. Ночью выпал снег, и он сейчас так лучился, что невозможно становилось смотреть. А на пруду, горах и в лесах лежала такая успокаивающая тишина, что у мастера замирало сердце от чистой радости.

«Вот когда наша машина покажет себя! – подумал Черепанов. – Осенью воды много, не жалко, в горах то и дело идут дожди, и пруд все время пополняется. А вот зимой попробуй набери ее, чтобы двинуть колеса!»

В это светлое утро Черепанов в первый раз пустил свою паровую машину. Она высилась на прочном каменном фундаменте, дышала ровно, ритмично. Плавно, размеренно ходили шатуны, и насосы не задыхались, не захлебывались, как прежде. По трубам, певуче позванивая, весело, торопливо бежала из шахты вода.

Очарованные Черепановы молча стояли перед созданием своих рук. Они казались пигмеями перед огромной машиной, а она покорно выполняла их волю. Радость, самая настоящая и глубокая, наполняла сердца механиков.

На этот раз в срубе, в котором работала машина, собралось не много народу. Любимов стоял в задумчивости перед механизмами и прикидывал выгоды. Его несколько пугало, что в топку уходило много дров. Подумать только, две кубические сажени в сутки! И все-таки работа паровой машины обходилась в двенадцать раз дешевле конной. Вода, конечно, даром, но где ее взять в мелководье?

– Спасибо, Ефим Алексеевич, – без спеси заговорил с механиком управляющий. – Выручил рудник! Чую я, что твоей машине будет почет на заводах!

Этими скупыми словами и ограничилась похвала. Александр Акинфиевич ушел из клетки спокойный, горделивый: медный рудник спасен и будет процветать!

Он отдал распоряжение снять конные погоны, лошадей перевести на другие работы, а коногонов поставить на завод к гвоздарному делу. Этим он сберегал хозяину большие деньги.

Демидов остался доволен донесением управляющего и написал Александру Акинфиевичу письмо о весьма полезном действии механики. Вслед за этим письмом от Николая Никитича последовало распоряжение в нижнетагильскую контору о создании должности приказчика механических заведений и о назначении на нее Ефима Черепанова. Отцовское место плотинного на Выйском заводе занял его сын Мирон.

Глава четвертая

1

В России стоял апрель с его синими прохладными зорями, с водопольем, с вешним звучанием резвых ручьев и гомоном перелетных стай. Только-только забродили соки в белоствольной березке и на пригретых местах из земли полезли зеленые упругие иголки травинки. Милая русская земля! Николай Никитич только сейчас, на смертном одре, почувствовал тоску по родным краям. В большом флорентийском дворце своем умирал демидовский потомок. За окном буйствовала природа чужой страны. В апельсиновых рощах оранжевым цветом пылали плоды, и казалось, что кто-то заботливый щедро развесил среди густой зелени тысячи тысяч цветных фонариков. В распахнутые настежь широкие окна спальни вливалось благоухание, и большие пестрые бабочки вились над клумбами, подобно манящим огонькам. Густо синело застывшее эмалью небо.

На широком ложе, покрытом шелковым балдахином, утонув в пуховиках, отходил потомок уральских заводчиков. Ему только что минуло пятьдесят пять лет, но жизнь ушла из его хилого, истощенного тела. Лежал он маленький, тщедушный, с крохотным восковым лицом, и бесконечная усталость читалась в угасающих глазах. Ничего величественного, привлекательного не осталось от когда-то сильного и жизнерадостного гвардейца екатерининских времен. Радости, увлечения, зависть и страсти оставили больное, иссохшее тело.

У дверей, в кресле, сидел упитанный, большеглазый итальянец лекарь. Молчаливо и неподвижно смотрел он на облаченного в епитрахиль седенького православного священника, который читал отходную.

Вряд ли уже слышал Николай Никитич медленные грустные слова отходной молитвы: он лежал неподвижно, с остекленевшими глазами. В комнате стыла могильная торжественная тишина, и одинокие залетевшие в покой бабочки только подчеркивали ее. В луче яркого южного солнца беспомощно трепетал огонек тоненькой восковой свечки. Капельки ярого воска стекали по свечке и падали на лакированный столик, стоявший у изголовья умирающего.

Отзвучали последние слова молитвы, священник задул свечку, снял и неторопливо свернул епитрахиль. Он скорбно склонился над Демидовым и долго прислушивался. Все кончено! Иерей истово перекрестился:

– Упокой, Господи, душу новопреставленного раба твоего...

Лекарь подошел к ложу и почтительно склонил голову...

В ясный лазурный день уральский властелин покинул земную юдоль, а вместе с нею огромное богатство, созданное великими муками работных людей! Тридцать тысяч крепостных, не зная отдыха, голодные и оборванные, трудились над созданием демидовских сокровищ. Огромные пространства уральских земель и лесов, пятнадцать действующих заводов, десятки деревень, горы металла и груды драгоценных камней, картины великих мастеров, фарфор и золотая утварь, – все осталось наследникам – сыновьям Павлу и Анатолию Демидовым, так сходным между собой в тунеядстве и различным по характеру.

По воле покойного, его решили похоронить на далекой родине, для которой он являлся чужим и немилым. Тело положили в гроб, заделали в цинковый ящик и в ожидании приезда наследников поставили в склеп.

Вскоре прилетели осиротевшие птенцы в опустевшее палаццо. Никто из слуг не заметил на их лицах ни скорби, ни разочарования. Старший, Павел, среднего роста, заметно пополнившийся, с ранней лысиной, деловито распоряжался разделом. Младший, шестнадцатилетний

Анатолий, только что прибыл из Парижа, где оставил лицей. Он предоставил хлопотать по хозяйству брату, а сам занялся молодыми флорентинками.

Павел Николаевич не покривил душой перед братом и произвел раздел поровну. Два огромных корабля по его приказу были нагружены демидовскими сокровищами и отправлены в Россию. Управителю Санкт-Петербургской конторы наказали срочно подыскать земельный участок и отстроить на нем приличествующее здание для размещения сокровищ. Павел Данилович по получении эстафеты немедленно наложил траур в Нижнем Тагиле, а затем быстро отыскал на Васильевском острове место для постройки и приступил к возведению хором для своеобразного музея.

Покойный Николай Никитич не забыл и Флоренцию, завещав городу огромные суммы. Итальянцы не остались в долгу, и на одной из флорентийских площадей, названной в честь его *Piazza Demidoff*, воздвигли ему памятник. Досужие люди дознались, что монумент этот возвели на средства Демидовых...

Тело Николая Никитича осенью 1828 года повезли из солнечной Италии в Нижнетагильский завод, отстоявший от Флоренции более чем на шесть тысяч верст. Гроб водрузили на особо сооруженный катафалк, накрыли черным покровом из тонкого сукна, обложенным по краям и посередине серебристым газом. Шесть черногривых сильных коней, покрытых черными попонами со сверкающей отделкой, повезли колесницу через всю Европу, вызывая удивление и любопытство встречных. Осенние дожди, грязь и ливни, зимние метели и снежные заносы, ледоставы и вскрытие рек не остановили мрачного кортежа. В России гроб с останками Демидова провозили через города с большой пышностью. Особенно торжественно встретили и провожали похоронную процессию в Киеве. Через весь город колесницу с гробом сопровождали киевский епископ Кирилл и многочисленное духовенство. Хор певчих огласил улицы. Возле каждой церкви, мимо которой везли прах, останавливались, читали Евангелие. Унылый звон колоколов сопровождал печальное шествие.

Спустя неделю за Киевом последовала Тула. Однако тульские оружейники только из любопытства вышли посмотреть на диковинное зрелище.

– И куда тащат мертвое тело за тысячи верст! – неприязненно встретили они своего бывшего хозяина. – У нас и своих живых живоглофов хоть пруд пруди!.. А кони-то, кони!..

Кроме духовенства и одиноких мещан, никто не провожал тульского заводчика.

Пошли унылые дороги, перелески, деревеньки, занесенные сугробами... Измученным крепостным не было дела до Демидова. Сопровождаемый четырьмя драбантами⁵ в черной одежде, экипаж медленно катился среди полей, как мрачное привидение...

2

Похоронили Николая Никитича Демидова в Нижнем Тагиле с большой пышностью во вновь отстроенной Выйско-Николаевской церкви. По наказу наследников управляющий заводами Любимов не поскупился на расходы: храм отстроили с прекрасным резонансом, обилием света и драгоценной живописной росписью. Стены церкви снаружи в нижних частях обложили огромными чугунными плитами, пол тоже сделали чугунный. Отныне под полом стала находиться усыпальница рода Демидовых. Отслужили панихиды, сорокоусты, одарили нищих и с покойником покончили.

Теперь Александр Акинфиевич и вся нижнетагильская челядь стали с треволнением ждать наследников. На Каменном Поясе никто и никогда не видел демидовских потомков. Было лишь известно, что оба брата воспитывались во Франции. Старший сын – Павел Николаевич, которому перемахнуло за тридцать годков, в эту пору оставил военную службу и успешно

⁵ Драбант – телохранитель.

подвизался при царском дворе в звании егермейстера. Младший, Анатолий, жил безвыездно в Париже, где только-только покинул лицей. Все остальное было покрыто мраком неизвестности – это особенно озадачивало управляющего заводом.

Любимов родился и вырос в Нижнетагильском заводе, возвысился до управляющего. Покойный владелец отличал его, и жизнь Александра Акинфиевича протекала плавно, гладко; Николай Никитич последние годы жил безвыездно в Флоренции, и управляющий заводами чувствовал себя властителем в Тагиле. Правда, на первых порах санкт-петербургская контора причиняла много хлопот и неприятностей, но умный и рассудительный тагильский управитель съездил в столицу и сумел столковаться с Даниловым. Оба они хорошо понимали друг друга.

«Так-то оно лучше: в ладу да в учтивости. Рука руку моет!» – думал Александр Акинфиевич и не скупился на поминки-подарки главному демидовскому управляющему.

Сейчас одно беспокоило Любимова: как поведут себя молодые наследники? Будут ли они по-прежнему жить на отлете или приедут и осядут в родовом горном гнезде? Ко всему этому у Любимова имела своя тайная тревога и о другом. Управляющий жил бирюком: жена умерла от мучительных родов, оставив ему дочь Глашеньку. Девушке шел шестнадцатый годок. Она была стройная, беленькая, как весенняя березка в соку, а глаза синие. Обладала она чистым и приятным голосом; запоет – песня в душу просится. Любил отец после хлопотливого дня забраться в светелку дочки и послушать ее песни. Хороши и привольны, за душу берут русские песни, но в устах Глашеньки они звучали еще сердечнее, еще теплее.

Слушая дочь, Александр Акинфиевич умилялся:

– И в кого ты удалась, моя радость?

Склонив головку с золотыми косами, девушка улыбалась отцу и еще звонче пела. Жила Глашенька в верхней светелке, за дальними переходами барского дома, в той самой, в которой в давние-предавние годы томила красавица полячка Юлька. Многие позабылось людьми о той стародавней поре, только среди седых горщиков да дедов-литейщиков, ныне изработанных, ходили тайные сказы о Катеринке Медвежьем огрызке да красавице Юленьке, казненной Митькой Перстнем. Сказы эти знала и Глашенька: их не раз тихими словечками, нанизывая, как жемчуг, по секрету рассказывала няня – старенькая ласковая Домнушка. То, что она живет в светлице, где когда-то распевала Юленька в жгучей ревности и страдала Катеринка, – все это волновало Глашеньку. В ее сердце рано проснулось беспокойное ожидание любви. Она пела, радовалась жизни, но приходили часы – и молчаливая, грустная девушка долго сидела у окна.

Однажды на вопрос Домнушки, о чем грустит девушка, Глашенька сладко потянулась и призналась с беспорочной простотой:

– Ах, бабушка, как хочется полюбить власть!

Старуха не на шутку перепугалась, бросилась к иконам, зажгла лампаду и весь вечер молилась:

– Пронеси, Господи, наваждение!

Домнушка скрыла от отца раннее пробуждение тоски в сердце Глашеньки. Морщинистая, сторбленная няня не осуждала питомицу. Да и как осуждать, если даже сквозь каменные могильные плиты пробивается в щели зеленая травка, если и спустя полвека сама Домнушка не могла забыть своей счастливой поры!

Однако управитель догадывался о многом и, ожидая приезда молодых демидовских наследников, больше всего опасался, чтобы его единственная Глашенька не попала им на глаза. Он отлично знал натуру столичных стервятников! Чтобы отвести беду, он подолгу беседовал с дочкой и, между прочим, заводил речь о любви.

– Нет ничего краше и дороже любви! – спокойно говорил он ей. – Но любовь – что облачко: дыхнешь и улетит, растает, а потому беречь ее надо и попусту нельзя звать это чувство к себе! Когда человек в поре, то оно краше и сладостней!

Однажды отец пришел в светелку, сел к столу и начал осторожный разговор с дочкой. Он вынул из одного кармана новенький золотой лобанчик⁶ и положил его на ладонь девушки.

– Гляди, Глашенька, как горит! Красив. Вот и любовь, как этот лобанчик золотой: пока он у тебя цельной монетой в кармане – ты богат! А вот! – Он полез в другой карман и извлек из него горсть грязных истертых медяков. – Глянь-ка! Видишь? Разменял лобанчик на тысячу копеечек – стал нищим: и таскать медяшки трудно, и грязные они, тусклые! Так и любовь – беречь ее надо до настоящего часа.

Глашенька рдела, но внимательно слушала отцовские поучения.

...Старший наследник Павел Николаевич Демидов жил в отцовском особняке в Санкт-Петербурге. Утесненный в средствах, которые по наказу отца отпускали из главной конторы (а отпускали немало, сто тысяч рублей в год), молодой егермейстер двора потихоньку влезал в долги. Балы, которые он давал, не отличались роскошью. Не раз он вступал в перепалку с прижимистым Даниловым, но тот непреклонно гнул свою линию:

– Для вас же стараюсь! Придет время, господин, и помянете меня добрым словом!

Ждать приходилось долго, батюшке подходило только к шести десяткам; сколько он протянет, кто знает? Однако все обернулось неожиданно приятной стороной: Николай Никитич оставил земную юдоль и перекочевал в подвал тагильской церкви. Тут-то и встрепенулся егермейстер двора Павел Николаевич. Он задал такой бал на поминовение души батюшки, что о нем долгое время говорили в столице.

Данилов, проводя расходы владельца по счетным книгам, пришел в неописуемое волнение:

– Батюшка, господин мой, да ведь с такими пирами и в трубу вылетим!

Демидов строго поглядел на управляющего, и тот поразился выражению лица и взгляду своего хозяина: что-то новое, грозное читалось в них. Не успел он опомниться, как егермейстер холодно и властно сказал:

– Что за господин такой? Господином величают и мелкого чиновника и дворянина-однодворца. Отныне и до века в обращении ко мне дозволяю применять только полный титул! Разумей, раб, и повтори за мной!

Туман заволок глаза Данилова: никак он не ожидал такого внезапного высокомерия. Чувствуя под собою колебание почвы, он рабски повторил вслух:

– Ваше превосходительство... Егермейстер двора Его Императорского Величества... Кавалер орденов...

На лбу у старика выступил холодный пот. Повторив все титулы и величания, он спросил:

– Так, господин, каждый раз и в бумагах то ж?

– Олух! – заорал Демидов. – Сказано, не просто господин, а ты вновь за старое! В бумагах особо, хоть донесение и в одну строчку, а титул полный! Потом о деньгах – не пикни! Я тут хозяин. Заикнешься – выкину или в далекую вотчину свинарем сошлю!

Хотел Павел Данилович заикнуться: «Да ваш батюшка давно мне вольную дал!» – однако промолчал: кому охота оставлять теплое, насиженное место?

На другой день Демидов издал указ по санкт-петербургской конторе – именовать ее главной, Данилова отныне величать главным директором, Любимова – директором Нижнетагильских заводов, а прочих – управляющими. От пышных наименований, конечно, ничего не изменилось, но старику было лестно это величание. Он немедленно отправился к молодому хозяину и в припадке рабьей преданности облобызал его ручку.

Одрахлел телесно Данилов, не так поворотлив стал, однако быстро изучил характер Демидова и не менее быстро приспособился к нему.

⁶ Лобанчик – золотая монета достоинством в 10 рублей.

Молодой хозяин уже не довольствовался седым крепостным камердинером и нанял для услуг к своей особе тощего бритого и нелюдимого на вид англичанина Джемса. Иноземец на всех смотрел свысока, говорил мало, держался невозмутимо; по губам его скользила брезгливость. Барина он одевал всегда с великой важностью, словно поп обряжал архиерея.

По вступлении в наследство Павел Николаевич решил выехать на Урал и осмотреть заводы. Началась подготовка к дальней дороге: чинили экипажи, готовили возки с кладью, издавались приказы по тагильской конторе. Павел Данилович спешно написал Любимову, как подобает встречать хозяина и что ему показывать. В марте сборы окончились, и Демидов, испросив разрешение у государя, отбыл на Каменный Пояс.

3

Далек и однообразен зимний путь! В опустелых полях, как вдова на похоронах, надрывно голосила метелица. Она злилась, швыряла в глаза Демидову пригоршни колкого снега и снова заходилась воем. Как челнок по вздыбленным волнам, нырял возок с пригорка в ухаб, с ухаба в сугроб. Конца-краю не предвиделось пути; минули Москву, Арзамас, пересекли Чувашию, оставили позади Волгу и после долгих неудобств добрались до Башкирии.

Молчаливый слуга-англичанин сидел рядом с ямщиком и удивленно поглядывал на необъятные просторы. Он не утерпел и сказал:

– Как велика ваша Россия!

Русский ямщик поднял голову и с гордостью отозвался:

– Расея-матушка просторна, без конца-краю. Мы ведь только краюшек с тобой отхватили, а все еще впереди!

Вот и попробуй, потягайся с таким царством-государством! Никто и никогда его не сло-мил!

Льдистыми синими глазами англичанин неприязненно смотрел вперед, о чем-то думая.

– Что ж ты молчишь? – толкнул его в бок бородатый молодец.

– Велика страна, а городов мало! – хмуро отозвался камердинер.

– Неверно! – вступился за свою землю мужик. – Городов много, но еще больше простору. И край-то наш молодой. У русских все впереди! Нам еще жить да жить! А кто молод, за тем радость и счастье!

Англичанин не отозвался, замкнулся в себе...

В одно утро перед путешественниками на горизонте встали горы. Поскрипывая поло-зьями, обоз медленно поднимался на увалы. Величаво кругом шумели бесконечные дремучие леса, впереди под самое небо поднимались темные вершины – шиханы – и неумолкаемо гре-мели незамерзающие даже в лютую зиму падуны-ручьи.

За сто верст от Нижнего Тагила демидовского наследника встретили высланные Люби-мовым конники: лесничие, егеря, казаки. Они сопровождали возок хозяина до самого завода.

Тем временем в Нижнем Тагиле с минуты на минуту ждали высокого гостя. Во дво-рец согнали десятки поденщиц. Они прибирали, чистили, выбивали дорогие бухарские ковры, промывали пыльные хрустальные люстры, натирали воском паркет. Из каменных кладовых, из заветных окованных сундуков вышколенные слуги извлекали дедовскую утварь: золотые кубки, серебряные чаши, парчовые скатерти. Спешно изготовили для дворни новые наряды с галунами. Казалось, снова ожил дремавший до сих пор барский дворец. Всюду мелькали бри-тые лакеи в темных фраках, гайдуки, скороходы, казачки для мелких услуг. В горницах и залах, проветренных и заботливо натопленных, сейчас все сверкало, блестело и переливалось.

На синем рассвете в Николин день на завод прискакал егерь и передал управляющему, что хозяин вступил в пределы своего владения, а к полудню его надо ждать в Тагиле.

Поспешно распахнули ворота. Управляющий вместе с приказчиками, уставщиками, кричными мастерами, кафтанниками – почтенными стариками, отслужившими Демидовым верой и правдой по многу десятков лет, – суетился на площади. В церкви рядом мелькали огоньки возжженных свечей и лампад. На паперти и по дороге, ведущей к ней, разбросали пахучую хрустящую хвою. Маленький тощий священник с жидкими косичками, заправленными под вытертый воротник старой шубенки, спозаранку суетился в притворе: приготавливал хоругви, икону для благословения. Крепкий рыжий детина дьякон с красными, как у кролика, глазами поминутно раздувал кадило. Кудреватый синий дым струйкой поднимался и быстро таял в морозном воздухе. Иерей поминутно выбегал на паперть и, задрав бороденку, зывал к звонарю:

– Гляди не прозевай!

Под большим медным колоколом стоял в полушубке и в пимах бородатый звонарь и зорко всматривался в белесые дали.

Александр Акинфиевич в последний раз осмотрел медную пушчонку, выставленную подле барского дома. Отставной артиллерист надраил орудие до блеска и зарядил двойным зарядом.

– Ты уж, Иванушка, постарайся! – просил Любимов. – Тарарахни так, чтобы гул по горам великим громом раскатился!

Пушкарь поежился, признался:

– По вашему приказу зарядил, да страшновато. Пушчонка по годам ровесница прадедам, да и палили из нее давненько. Ненадежна!

– Пали, выдержит! – приказал управляющий. – Как только сойдет из саней господин, так и дуй горой!

– Уж вы не беспокойтесь. Пальну, как велено!

Как ручейки в вешнюю талую пору, на площадь с говором стекался народ. Пришли черномазые углежогги, вылезли на-гора истомленные горщики, явились литейщики, кузнецы. Запестрели цветные платки заводских женок, и зазвенели над снегами резвые ребячьи голоса. Людское море волновалось, гудело. Тусклое солнце, как совиное око, выглядывало из-за туч. Дорога была пустынна – всех проезжих и пешеходов полицейщики согнали в сторону, в сугробы.

Но вот вдали вихрем заглубился снежок, мелькнула черная точка, быстро, на глазах, увеличиваясь.

– Едут! – закричал на колокольне звонарь и вслед за этим ударил в колокол. Тяжелые гудящие звуки поплыли над заводом, над прудом и дальними горами. Священник в рясе, надетой поверх шубки, вышел с иконой на паперть. За ним вынесли хоругви, подхваченные ветром. Управляющий бросился вперед...

Все уловили звон бубенцов, который с каждым мгновением нарастал и становился все ближе и ближе. Минута – и на дороге выросли и взметнулись вихри снежной пыли. Впереди неслась резвая тройка серых. Позади саней, вытянувшись в струнку словно гончие, на мохнатых башкирских иноходцах скакали егеря. И дальше, оглашая просторы звоном колокольников, неслись еще две тройки.

– Едут! Едут! – заволновались в толпе, и все стали тесниться к паперти, на которой суетился в ожидании Демидова церковный причт со священником во главе.

Тройка серых, покрытая паром, закусив удила, бешено вынеслась на площадь. Бравый кучер в косматой папахе во всю глотку кричал:

– Эй, сторонись. Разда-й-ся!..

Народ отхлынул в стороны, и образовалась широкая улица, в которую остервенело ворвалась взмыленная тройка. Ямщик-удалец натянул вожжи, и кони-звери как вкопанные остановились у самой церкви.

Любимов на ходу смахнул с головы ушанку и закричал зычно:

– Ребята, хозяину ура!

– Урр-р-а! – покатилося над площадью, над прудом и горами.

Три бородатых кержака в дареных господских кафтанах из синего сукна с позументом по вороту и на полах, во главе с управляющим предстали с низкими поклонами перед мягким меховым узлом, втиснутым в сани.

– Извлечь! – раздался басовитый голос из узла.

Дядьки и егеря под восклицания толпы извлекли из саней чучело, завернутое в шубу, на которую напаян был широчайший ергак⁷, с сибирским малахаем на голове. Где-то в глубине мехового воротника белело лицо.

– Поставьте на ноги! – прохрипело из узла.

– Ваше высокопревосходительство! – восторженно возопил Любимов.

Егеря бережно поставили Демидова перед иконой, горевшей позолотой на солнце. На ветру колебались хоругви. Из кадила, которым усердно размахивал дьякон, взвились синие витки дыма. Управитель услужливо снял с головы заводчика малахай и откинул воротник шубы. Перед тагильцами предстало румяное сытое лицо Павла Николаевича с усталыми серыми глазами. Священник выступил вперед и, осеняя иконой прибывшего барина, испуганным голосом речитативом изрек:

– Благословен ваш приезд, ваше высокопревосходительство, господин егермейстер двора Его Императорского Величества, кавалер...

Попик запнулся, запамятавав дальнейший титул Демидова, и, чтобы отвести грозу, возопил на всю площадь:

– Ваши подданные счастливы зреть вас в здравии и в расцвете сил! – Священник переглянулся с дьяконом, и тот, а за ним и хор рявкнули:

– Многая ле-е-та-а!.. Многая ле-е-та-а!..

Под возгласы хора вдруг грозно ахнула пушка: над площадью загремело-загрохотало, над толпой с визгом пронеслись осколки; к счастью, ребят не задело, но пушкарь Ивашка завыл от боли: ему оторвало руку. От большого заряда пушку мгновенно разнесло, дым поднялся волной.

Демидов в страхе зажал уши, тяжело упал и покатился в сугроб. Народ бросился враспынную. Развевая бороденкой, перепуганный священник, зажав под мышку икону, проворно юркнул в церковный притвор и часто-часто закрестился:

– Свят, свят! С нами Бог и всемилостивая защита!

Дьякон брякнул кадилом, хотел снова рявкнуть многолетие, но раздумал и махнул рукой:

– Светопреставление! И что, нечестивцы, надумали?

Дым постепенно рассеялся, все понемногу пришли в себя и с опаской стали сходиться к храму. Управляющий с егерями извлек барина из сугроба, и его под руки повели в дом. Егермейстер устало передвигал онемевшими ногами. Был он очень бледен и взволнован.

– На что же это похоже? – сердито выкрикивал он, и затуманенные испугом глаза его укоряли управляющего. – Это что же, своего властелина задумали загубить?

Дрожа в ознобе, Любимов не мог вымолвить и слова.

– Ва-ва!.. – мямлил и заикался он. – Пп-у-шку не д-о-г-л-я-д-е-ли, ш-е-ль-м-е-цы!

– Бездельники! – взвизгнул, переступая порог прихожей, Демидов. – Я вас закатаю, всех перепорю!..

Внутри у него все кипело и клокотало. В приемной на скамьях в ожидании барина сидели лесничие, приказчики, кафтанники, пристав. При появлении хозяина их словно ветром сдуло со скамьи. Они разом вскочили и дружно низенько склонили головы.

⁷ Ергак – тулуп.

– А, воры, расхитители! Вот ты! – заревел Демидов и схватил за седую бороду старика приказчика, который рабски верно отслужил на заводе добрых полвека. – Много нахапал? Ска-
зывай! – Резким движением он рванул его вправо-влево, от чего голова старика мотнулась, а
на глазах выступили слезы.

– Батюшка! – вырвал из рук Демидова бороду и упал ему в ноги приказчик. – Еще деду
вашему я служил и кафтаном от него награжден. Да мы живот свой, батюшка, готовы за вас
положить!

– Врешь, стервец! – оттолкнул его Демидов и пошел дальше. За ним поспешил Любимов.

– Ваше высокопревосходительство, успокойтесь! Ради бога, успокойтесь! – с отчаянием
взмолился он, обретая, наконец, дар речи. – Здесь собрались только самые преданные ваши
слуги, верноподданные!

– Раздеть! – закричал заводчик.

Джемс, следовавший по пятам господина, молча стал разоблачать его. К нему на помощь
угодливо бросился Любимов. Он встал на колени и осторожно стащил с Демидова большие
валеные сапоги. Управляющий все еще боялся хозяйского гнева и, с готовностью перенести
огорчения, преданно и заискивающе смотрел ему в глаза. Однако Павел Николаевич, видимо,
израсходовал последние силы. От жарко натопленных печей Демидова разморило, по телу раз-
лилась истома. Он ословело взглянул на Любимова и примирение прошептал:

– Чарочку!

Барина бережно взяли под руки и повели в одних чулках в столовую. Только подошли
к двери, как она разом широко распахнулась и на пороге с подносом в руках встала веселая
румяная Глашенька.

Демидов сразу встрепнулся, лицо стало умильным. Он улыбнулся и потянулся к отпо-
тевшему графинчику с водкой.

– Ах, боже мой, и что за красавица такая? Откуда она? – не сводя глаз с девушки, подоб-
ревшим голосом заговорил он.

Вперед выступил управляющий и смиренно склонил голову:

– Моя дочь, ваше высокопревосходительство. Увидела ваши напрасные тревобления и
выбежала навстречу.

– Вот молодец! Вот умница! – любуясь Глашенькой, похвалил Демидов и осторожно взял
девушку за подбородок. – Не знал я, что у тебя, борода, такая раскрасавица дочь! – закончил
он совсем мирно, залпом хватил чарку хмельного и повеселел.

4

Сутки отсыпался Павел Николаевич с дальней дороги. После отдыха его свели в баню,
знатно выпарили, размяли вялое тело, умыли, уложили, как восточного властелина, на мягкую
софу в предбаннике, поставили перед ним наливки и разложили яства. Демидов сладко при-
щурил глаза и вдруг спросил Любимова, благосклонно хлопая его по плечу:

– Скажи-ка, хитрец, для кого дочку бережешь?

Управляющий затрепетал. Потупив глаза, он со скорбью в глазах ответил:

– Не доведет Господь оберечь мое богатство. Больна моя доченька, ваше высокопревос-
ходительство. Чахотка!

– Но ведь она румяна, как яблочко? – усомнился Демидов.

– В последнем градусе ходит, вот хворь на ланитах и горит-играет! Ох, и горько
моему отцовскому сердцу такое выстрадать! – Управляющий сокрушенно вздохнул и перекре-
стился. – Да будет на все божья воля!

Павел Николаевич осторожно отодвинулся от Любимова, недовольно насупил брови.

– Что же ты раньше мне об этом не сказывал, а подослал с чаркой?

– Сама выбежала, ваше высокопревосходительство. Как завидела в оконце вас, так дух ей от радости и восторга захватило и, не спросясь, сорвалась навстречу.

Демидов ощупал свое полное, вялое тело и недовольно покосился на управляющего:

– Полагаю, на сей раз пронесло. Боюсь заразы. Не скрываюсь, боюсь! Ты убери ее подальше от моих покоев. Да и сам ко мне близко не подходи!.. Жаль, весьма жаль, красива клубничка, румяна, да опасна!

Любимов рабски пролепетал:

– И на глаза хворую не пущу!

В тот час, когда Демидов наслаждался банным теплом, в курной избушке, крытой дерном, отходил пушкарь Иванка. Горщики донесли его до хибары и уложили на скамью. Сердобольные женки обмыли рану, перевязали, да уже поздно: кровью изошел старик. И когда Демидов вспомнил о нем и вызвал пушкаря на суд, ему доложили:

– Иванушка приказал долго жить. Антонов огонь прикинулся, и умер, бедолага. Перед Господом Богом он теперь слуга!

– Некстати поторопился! Не расчелся за содеянное с хозяином и грех в могилу унес! – недовольно сказал Демидов.

Работные стояли молча, опустив головы. Кипело у них в груди, да что скажешь барину, когда у него сердце каменное, а душа червивая? Эх-х!..

Демидов словно не видел тяжелой жизни работных. Приходя в темные холодные цехи, он подолгу присматривался к работе. Впервые Павел Николаевич увидел и рассмотрел пышущие жаром домны, обжимные молоты, людей же он как будто не замечал: держался высокомерно, ни с кем не вступал в разговор. Старый литейщик, который знал отца и деда его, не утерпел и смело подошел к заводчику.

– Ваша милость, поглядите на защитку! Совсем погорела от огня! – обратил он внимание Демидова на кожаный фартук. По запекшемуся лицу рабочего лил пот, ворот ветхой рубахи был расстегнут, большие жилистые руки устало повисли вдоль тела. Глянув на чумазое, покрытое потом и сажей лицо литейщика, заводчик брезгливо отвернулся от него и, оборотясь к Любимову, спросил:

– Чего он хочет?

Управляющий потупил глаза, заюлил:

– Он говорит, защитка погорела! Сами извольте видеть, ваше превосходительство, как им не погореть в таком пекле. Разве напасешься?

Рабочий шаркнул по чугунным плитам пряденьками⁸ и снова очутился перед лицом хозяина.

– Это верно, она долго не выдерживает, но ведь давненько ее меняли. А нам каково, тело запекается. Поглядите, кожа лопается! – настойчиво говорил литейщик, размахивая снятой войлочной шляпой.

– Любимов, о чем говорит этот холоп? – багровея, спросил Демидов.

Моргая глазами работному, чтобы он ушел, управляющий угодливо передал заводчику:

– Ваше высокопревосходительство, он просит, чтобы чаще меняли защитки.

– Хоть раз в год! – добавил литейщик.

Демидов хмыкнул носом и снова отвернулся.

– Передай ему, Любимов, что этого делать нельзя! – сердито сказал Павел Николаевич. – Стыдно разорять хозяина. Эка важность, подумаешь, если запечется от жара лицо раба! Ведь ему не в полонезе идти! – улыбнулся своей шутке Демидов.

Любимов слово в слово повторил речь барина, стараясь всей своей грузной фигурой оттеснить рабочего.

⁸ Пряденьки – лапти из веревок, надеваемые на сапоги.

– Так! – с укором выдохнул литейщик. – Работенка каторжная, а барин и говорить с нашим братом не хочет. Снизойти не желает! Эх-х! – Работный дерзко напялил на лохматую голову войлочную шляпу.

– Любимов, это еще что? Шапку перед барином долой! Высечь дерзкого! – распаляясь гневом, закричал Демидов.

– Что ж, и на том спасибо! – мрачно посмотрел на заводчика работный.

– Взять! Немедля взять! – взвизгнул егермейстер.

Словно из-под земли выросли два гайдука и схватили литейщика. Барин отвернулся и, посапывая, быстро вперевадку пошел к выходу. На ходу он отчитал управляющего:

– Дерзости! Одни дерзости! Распустил! Гляди, сам бит будешь!

Побледневший Любимов тихо брел за хозяином, рабски отмалчиваясь, давая ему «выходиться».

– Сани! – крикнул Павел Николаевич.

Его бережно усадили и повезли.

– Куда прикажете, ваше превосходительство? – осведомился управитель.

– На Выйский рудник!

Кони быстро доставили их на медный рудник. Над бревенчатым срубом поднимался пар.

– Что это такое? – спросил заводчик.

– В сем амбаре работает водокачалная паровая машина Черепанова, ваше высокопревосходительство. А вот он и сам!

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.